

С $\frac{81}{630}$
1948

БАТЮШКОВ

Q

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСИПОВАНА М. ГОРЬКИМ

Малая серия · Второе издание

Редакционная коллегия:

М.А. ГРУЗДЕВ, В.П. ДРУЗИН,
А.М. ЕГОЛИН, А.А. ПЛОТКИН,
А.А. ПРОКОФЬЕВ, В.М. САЯНОВ,
И.В. СЕРГИЕВСКИЙ, Г.Э. СОРОКИН,
Н.С. ТИХОНОВ

Советский Писатель

С 81 / 630

К. БАТЮШКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

*Вступительная статья,
редакция
и примечания*
Б. ТОМАШЕВСКОГО

~~1948/27~~
81333

Малая серия № 44

48-20720

Государственная
ордена Ленина
Библиотека СССР
им. В. И. Ленина

57901
LA

33346



2010515930



1

К. Н. БАТЮШКОВ

I

Константин Николаевич Батюшков родился в Вологде 18 (29) мая 1787 г., а раннее детство провел в вотчине отца Даниловском (около гор. Бежецка). Отец его принадлежал к старинному дворянству. В 1770 г. в возрасте 15 лет он удален был из Измайловского полка в связи с ссылкой его дяди, обвиненного в заговоре против Екатерины II в пользу сына ее Павла. Николай Львович прожил опальным дворянином в своем поместье. Мать Константина Николаевича вскоре после его рождения сошла с ума. Она умерла в 1795 г.

В десятилетнем возрасте Константин Николаевич был отдан в петербургский частный пансион француза Жакино. В 1801 г. он перешел в пансион итальянца Триполи. Шестнадцати лет, в 1803 г., Батюшков оставил пансион, и на этом закончилось его образование. Своим учителям Батюшков обязан был знанием языков. Французским языком он владел в совершенстве. Слабее

знал итальянский язык, не говорил на нем (практически он изучил его позднее, в Италии), но свободно читал итальянских поэтов (правда, в его ранних переводах заметно недостаточное знание итальянского языка). Кроме того, он изучал немецкий и латинский языки.

Уже в пансионе Батюшков начал писать стихи. Увлечение литературой поощрял его дядя, поэт Михаил Никитич Муравьев (1757—1807), руководивший занятиями Батюшкова.

Окончив пансион в 1803 г., Батюшков поступил на службу делопроизводителем в министерство народного просвещения. Служба тяготила Батюшкова. Он никогда не мог примириться с канцелярской работой, с бюрократическим духом, хотя обстоятельства постоянно принуждали его служить. В 1811 г., 27 ноября, он писал Гнедичу: «Служить из тысячи рублей жалованья титулярным советником, служить и готовиться к экзамену подобно Митрофану... служить писцом, скрибом... Нет, нет, это все выше меня». Батюшков нашел среди своих сослуживцев много молодых писателей, с которыми он подружился. Особенно стал ему близок Н. Гнедич. На много лет с этого времени Гнедича связывала с Батюшковым теснейшая дружба; Батюшков внимательно прислушивался к литературным советам и критике Гнедича. Среди других сослуживцев Батюш-

кова была группа участников литературного объединения «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Это были И. П. Пнин, Н. А. Радищев (сын), И. М. Борн и др. Естественно, что Батюшков связался с этим обществом. После первого выступления на страницах московского журнала «Новости русской литературы» в январе 1805 г. он начал сотрудничать в журналах, где печатались произведения членов «Вольного общества» («Северный вестник», «Журнал российской словесности»), а вскоре, 22 апреля, уже был избран в действительные члены общества.

Впрочем, писал Батюшков немного и, например, в 1806 г. он напечатал только одно стихотворение. В следующем, 1807 г., он по собственному желанию оставил гражданскую службу и записался в ополчение. Его часть была отправлена на места военных действий против Наполеона в Пруссию. Через два дня по прибытии в часть Батюшков был ранен в сражении под Гейльсбергом 10 июня 1807 г. и эвакуирован в Ригу, где и находился два месяца на излечении. Отсюда он отправился в деревню отца, в Даниловское. Здесь его ожидали семейные неприятности. Отец его женился вторично, и это послужило причиной раскола в семье. Дети от первого брака, Константин Батюшков и две его сестры, переселились из имения отца в деревню их покойной матери,

в Хантоново (Череповецкого уезда). А здесь еще он получил тяжелое для него известие о смерти своего дяди Муравьева, самого близкого своего родственника; в его доме он жил до отъезда на войну. Батюшков перебрался в Петербург; здесь перенес тяжелую болезнь и по выздоровлении вернулся в полк.

Жизнь в Петербурге в 1807 г. сблизила Батюшкова с семьей А. Н. Оленина, близкого друга покойного Муравьева. Оленин был покровителем и любителем искусства и литературы. Собиравшееся у него общество, где видное место занимал Н. И. Гнедич, соответствовало литературным наклонностям Батюшкова. Здесь господствовало преклонение перед образцами античной древности, но не такое, как у французских классиков и их подражателей. Друзья Оленина считали идеалом прекрасного подлинную античность как в литературе, так и в изобразительном искусстве. Взгляды оленинского круга на искусство отразились в позднее написанной Батюшковым статье «Прогулка в Академию художеств». Литературные связи и симпатии Батюшкова в этом кругу расширились. Оленин и его круг были поклонниками драматической деятельности Озерова (вообще театральные интересы занимали много места в кружке); здесь Батюшков сблизился с Крыловым (что отразилось на заключительной части «Видения

на берегах Леты»), а также с драматургом А. А. Шаховским, который предпринял издание «Драматического вестника»; Батюшков стал деятельным сотрудником этого журнала.

Весной 1808 г. Батюшков, по выздоровлении, отправился в войска, действовавшие в Финляндии. Ему не пришлось принять участие в военных действиях, но он целый год провел в походах. Впечатления от северной природы отразились в его очерке «Из писем русского офицера о Финляндии».

Летом 1809 г. Батюшков вернулся из армии в Петербург, а оттуда переехал в Хантоново. Здесь он проводил время в литературной работе. Именно к этому пребыванию в деревне относится его боевая сатира «Видение на берегах Леты», определившая его отношение к литературной борьбе тех лет. Сатира быстро получила широкое распространение и вызвала неудовольствие в среде осмеянных в ней сторонников А. Шишкова. Все сгруппировавшиеся вокруг Шишкова литературные староверы, соединявшие идеи политической реакции с идеями возврата к формам языка и литературы прошлого, вплоть до неумеренного употребления вымерших церковно-славянских оборотов в литературном языке, — все они отнеслись к сатире как к серьезному нападению врага. Об этом Батюшков узнал уже позднее в Москве, куда он переехал из деревни в самом конце 1809 г.

В Москве Батюшкова ожидали новые знакомства и новые литературные связи, которые многое определили в его дальнейшей жизни и литературной деятельности. Он сдружился здесь с группой молодых последователей и почитателей Карамзина, впоследствии вошедших в литературное объединение «Арзамас». Среди новых друзей Батюшкова были: Василий Львович Пушкин, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский. До сих пор его литературным собеседником (в постоянной переписке и в личном общении) был Н. Гнедич: начиная со времени пребывания Батюшкова в Москве влияние карамзинистов начинает преобладать над влиянием Гнедича. Он остается в приятельских с ним отношениях, но явно склоняется к единомыслию с П. А. Вяземским. Здесь же, в Москве, Батюшков познакомился и с Н. М. Карамзинным, и это окончательно поставило его в ряды карамзинистов, борьба которых против осмеянных уже Батюшковым шишковистов в эти годы особенно разгоралась.

Между тем, Батюшков, считая себя обойденным по службе, вышел в отставку и жил в качестве помещика на доходы с имения, проводя время то в Москве, то в Хантонове. Поместье его, хотя и запущенное, давало доход для неприхотливой жизни; впрочем, оброка не доставало для дорогой столичной жизни или для поездок, а о путешествии за границу на собственные средства

Батюшков не мог и думать. Всё это заставляло Батюшкова искать службы как для дополнительных доходов, так и для «положения» в обществе. Мысль о необходимости служебной карьеры его не покидала. Он мечтал не о канцелярской, а о дипломатической деятельности, которая дала бы ему возможность посетить Европу. В начале 1812 г. он приехал в Петербург. А. Н. Оленин устроил его в Публичной библиотеке. Здесь его сослуживцами, кроме его друга Гнедича, были многие члены кружка Оленина, в том числе И. А. Крылов. С другой стороны, Батюшков познакомился с петербургскими друзьями и почитателями Карамзина: А. И. Тургеневым, Д. В. Дашковым и Д. Н. Блудовым. С новыми друзьями Батюшков в «Обществе любителей словесности, наук и художеств» образовал особую группу. Общество, когда-то передовое, в это время приходило в совершенный упадок. Вся группа, в которую вошел Батюшков, покинула общество после исключения из него Дашкова (в связи с инцидентом при выборах в почетные члены графа Хвостова, которого Дашков высмеял в приветственной речи).

Между тем началась война 1812 г. Болезнь помешала Батюшкову принять в ней участие в самом начале. Кроме того, бедственное положение его тетки Муравьевой в Москве заставило его выехать к ней на помощь. Он прибыл в Москву накануне Бо-

родинского сражения. Вместе с Муравьевой и ее семейством он отправился в Нижний Новгород, куда направлялось большинство беглецов из Москвы, оставленной русскими войсками. Из Нижнего Батюшков выехал в Москву после ухода французов. События 1812 г. подействовали на настроения Батюшкова и заставили его пересмотреть свои прежние взгляды и отказаться от прежних симпатий. Из Москвы он писал Гнедичу: «Ужасные поступки вандалов, или французов, в Москве и в ее окрестностях, поступки, беспримерные и в самой истории, вовсе расстроили мою маленькую философию и поссорили меня с человечеством». Впечатления от посещения Москвы отразились в его стихотворении, адресованном Дашкову: «Мой друг, я видел море зла».

Я видел бедных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутии видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали
И с новым грепетом взирали
На небо рдяное кругом.

.
Нет, нет! пока на поле чести
З) древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь,
Мой друг, доколе будут мне

Все чужды музы и хариты,
Венки, рукой любви свиты,
И радость шумная в вине!

Вернувшись в Нижний, Батюшков встретил здесь приехавшего на излечение генерала А. Н. Бахметева, раненного под Бородином. Батюшков, решивший снова служить в армии, поступил к нему в адъютанты. Отъезд в армию задержался, так как выяснилось, что по состоянию здоровья Бахметев в армию вернуться не может. Батюшков поехал один и был направлен адъютантом к генералу Н. Н. Раевскому. Русскую армию он застал в Дрездене. С первых же дней по прибытии ему пришлось участвовать в сражениях; ранение Раевского в битве под Лейпцигом (4 октября) на два месяца удалило Батюшкова от военных действий: он последовал за Раевским в Веймар, где и оставался до его выздоровления. Вернулись они в армию уже к концу кампании. Батюшков присутствовал при капитуляции Парижа. Здесь Батюшков прожил два месяца. Парижские театры, музеи произвели на Батюшкова сильное впечатление. Он спешил ознакомиться с жизнью города, бродил по его улицам и бульварам; и письма его полны впечатлений от пестрой, красочной жизни Парижа. Из Парижа через Лондон, затем Швецию и Финляндию Батюшков вернулся в Петербург. Здесь он остановился в дружеской

семье Олениных. В этой семье росла и воспитывалась молодая девушка Анна Федоровна Фурман. Батюшков знал ее с детства. Теперь, когда она была уже взрослой девушкой, Батюшков решил жениться на ней. Дело было уже почти улажено, и Оленины сочувствовали браку, но Батюшков убедился, что невеста дала согласие против своего желания. Он отказался от брака и уехал из Петербурга.

Между тем, в Хантонове дела приходили в расстройство. Пришлось заняться хозяйством и для этого ехать в деревню. Пробыв здесь некоторое время, Батюшков направился по месту службы, в часть, где находился его начальник Бахметев, в Каменец-Подольск. Он надеялся не долго оставаться в этом городе, рассчитывая на перевод в гвардию. Однако перевод не последовал. Служебные неудачи, вынужденное пребывание в мелком провинциальном городе обострили тяжелое настроение, вызванное расстройством его плана женитьбы. В конце 1815 г. он подал в отставку и выехал из Каменец-Подольска в Москву, где и стал ожидать ответа на свое прошение об отставке.

Здесь Батюшков занялся подготовкой к печати своих произведений, издание которых поручил Н. Гнедичу. Много внимания было уделено прозе, которая составила первый том «Опытов»; стихи вошли во второй том.

1816—1817 гг. — время наибольшей литературной известности Батюшкова. В частно-

сти, это выразилось в избрании Батюшкова в члены «Московского общества любителей русской словесности» в июле 1816 г. При вступлении на заседании общества была прочитана его речь «О влиянии легкой поэзии на язык». Вскоре затем он был избран в члены «Казанского общества любителей словесности», а после выхода в свет «Опытов» — почетным членом «Вольного общества любителей словесности» (в Петербурге). Но наиболее близким Батюшкову объединением был «Арзамас». В этом обществе объединились все его друзья-карамзинисты. Общество организовалось в порядке дружеских собраний частного характера 14 октября 1815 г., и в число его членов заочно включен был и Батюшков, который при этом получил арзамасскую кличку «Ахилл», вероятно за свои боевые сатиры против Шишкова и шишковцев: «Видение на берегах Леты» и особенно «Певец в Беседе русского слова» (постоянные болезни Батюшкова дали основание к арзамасскому каламбуру: «Ахилл, ах, хил»). «Арзамас», который ставил себе целью борьбу с «беседистами», конечно, должен был считать Батюшкова в числе своих главных членов. Однако Батюшков не скоро принял участие в заседаниях «Арзамаса»; лишь 27 августа 1817 г., вскоре после его приезда в Петербург, состоялся официальный его прием с соответствующими юмористическими обря-

дами: Блудов говорил приветственную речь, а Батюшков произнес «отходную» речь о секретаре Российской академии П. И. Соколове. В октябре вышли в свет «Опыты».

В ноябре 1817 г. умер отец Батюшкова. Пришлось отправиться в деревню, чтобы спасти имение от окончательного разорения. В эти же годы изменилась и внешняя судьба Батюшкова. Оставив военную службу, он еще в августе 1817 г. опять устроился в Публичной библиотеке, не переставая ходатайствовать о службе в дипломатическом ведомстве; он надеялся таким образом осуществить поездку в Италию. Между тем, в мае 1818 г. по болезни ему пришлось уехать в Одессу. Ожидаемого выздоровления Батюшков не нашел и уже собирался поехать в Крым, как пришло известие о назначении его в русскую миссию в Неаполь. Назначение это состоялось благодаря хлопотам А. И. Тургенева, который и поспешил известить Батюшкова об успехе своего ходатайства.

Отказавшись от поездки в Крым, Батюшков немедленно выехал в Москву; оттуда он ненадолго поехал в деревню и затем вернулся в Петербург. Здесь он провел всё время в приготовлениях к отъезду и наконец 19 ноября 1818 г., после прощания с друзьями-арзамасцами, выехал в Неаполь через Варшаву, Вену, Венецию и Рим.

Путешествие продолжалось долго. Лишь в январе Батюшков прибыл в Рим, где и

остановился на некоторое время (отчасти по болезни). Письма его из Италии свидетельствуют об огромном впечатлении, какое на него произвело первое знакомство с итальянскими городами и итальянской природой. «Одна прогулка в Риме, один взгляд на форум, в который я по уши влюбился, заплатят с избытком за все беспокойства долгого пути», — писал он Оленину по приезде в Рим. «Какая земля! Верьте, она выше всех чписаний для того, кто любит историю, природу и поэзию; для того даже, кто жаждет к грубым чувственным наслаждениям, земля сия — рай земной» (письмо Уварову из Неаполя в мае 1819 г.).

Здоровье Батюшкова всё ухудшалось. Вскоре Батюшков из Неаполя выехал в окрестности, на Искию, — остров, где находятся источники горячей соленой воды. Но и эти ванны не помогли ему. Болезнь Батюшкова осложнялась его подавленным настроением: в Неаполе он чувствовал себя одиноким, итальянское общество его не удовлетворяло, с русскими друзьями переписка не налаживалась. Первое время по поручению А. Оленина он сблизился с русскими художниками, жившими в Риме. Один из них, Щедрин, даже некоторое время жил с Батюшковым на одной квартире в Неаполе. Чувство тоски не покидало Батюшкова. Служебные неприятности, нелады с послом, графом Штакельбергом, осложнение

положения русского посольства в условиях революционного движения в Неаполе с начала июля 1820 г. — всё это заставляло Батюшкова стремиться покинуть Неаполь. Наконец в декабре 1820 г. он получил разрешение Штакельберга переехать в Рим, и ему удалось устроиться здесь в русской миссии. Но в Риме его здоровье еще ухудшилось. Постоянные невралгические боли, которыми он страдал с юных лет и от которых стал систематически лечиться еще с 1817 г., настолько усилились, что посол в Риме А. Я. Италинский исходатайствовал для него отпуск для лечения, и Батюшков направился в Чехию, на Теплицкие минеральные воды, которые славились как лучшее средство против ревматизма и невралгии.

В Теплице, куда он приехал летом 1821 г., силы сперва как будто к нему вернулись. Он снова начал писать стихи, в то время как в Италии он, по собственному его признанию, вовсе не мог заниматься поэзией. Именно в Теплице Батюшков начал подготовку второго издания своих произведений и создал несколько стихотворений, едва ли не лучших из всего написанного им. Но это были последние его стихи. Несмотря на то, что он начал лечиться с необыкновенным упорством, вскоре появились симптомы, по которым можно было угадывать развивавшуюся душевную болезнь. В частности, друзей поэта поразило, с какой странной

раздражительностью он отнесся к двум, по существу мелким, фактам: в «Сыне Отечества» были напечатаны Воейковым сообщенные Блутовым новые стихи Батюшкова. Воейков искажил текст стихов; Блутов печатно указал на искажения. Воейков в свою очередь вступил в полемику с Блутовым, который, приехав в Теплицу, рассказал Батюшкову о происшедшем. Около того же времени Плетнев напечатал в том же «Сыне Отечества» стихи без подписи под заглавием: «Б. . . . в из Рима», где с самыми добрыми намерениями от имени Батюшкова сообщал, как он скучает в Италии и стремится на родину. На оба эти факта Батюшков взглянул с чрезвычайным раздражением, усмотрев в том желание оскорбить его. Он написал Гнедичу два письма, приложив к ним обращение к «издателям «Сына Отечества» и других журналов», в котором, протестуя против стихов Плетнева и своеговольного напечатания «Эпитафии», заявлял: «Дабы впредь избежать и тени подозрения, объявляю, что я в бытность мою в чужих краях ничего не писал и ничего не буду печатать с моим именем». Гнедичу он писал: «Нет, не нахожу выражений для моего негодования: оно умрет в моем сердце, когда я умру. Но удар нанесен. Вот следствие: я отныне писать ничего не буду и сдержу слово». Друзья поэта были в недоумении. Однако болезнь еще не приняла явных форм.

*

Так как болезненные симптомы не уменьшались, Батюшков направился в Дрезден, намереваясь оттуда ехать во Францию. Из Дрездена он подал прошение об отставке. Здесь с ним виделся Жуковский. Он записал в своем дневнике, что Батюшков рвал ранее написанное и говорил: «Надобно, чтобы что-нибудь со мною случилось».

В Дрездене Батюшков остался до весны 1822 г. Получив от министра иностранных дел Нессельроде отпуск вместо отставки, Батюшков направился в Петербург, а оттуда на Кавказские минеральные воды. Здесь сумасшествие его определилось окончательно. В августе он поехал в Крым, в Симферополь. Болезнь его приняла тяжелую форму; Батюшков несколько раз покушался на самсубийство. Он поступил под непосредственное наблюдение врачей, и с этой поры начинается его длительное существование в качестве душевнобольного. Сперва делали попытки его лечить и для этого поместили в больницу для душевнобольных в Зонненштейне (на Эльбе, в Саксонии), где он пробыл четыре года без всякого изменения в состоянии здоровья. После этого его перевезли в Москву, где он провел три года, а затем в Вологду. Здесь он прожил более двадцати лет и умер 7 (19) июля 1855 г. от тифа.

Болезнь, прервавшая деятельность Батюшкова, подготовлялась издавна; она была на-

следственной и проявилась также и на его сестре, которая сошла с ума в 1829 г. Наследственность эта — от матери, умершей в сумасшедшем доме: впрочем, и по отцовской линии, повидимому, Батюшков тоже унаследовал предрасположение к нервному заболеванию. Повышенная нервная раздражительность наблюдалась у него и до болезни.

Еще в 1809 г. он писал Гнедичу: «Если я проживу еще десять лет, я сойду с ума... Мне не скучно, не грустно, а чувствую что-то необыкновенное, какую-то душевную пустоту... Что делать?» И подобное настроение постоянно к нему возвращалось. В 1810 году он писал Жуковскому: «Болезнь меня убивает... у меня в голове сильный ревматизм, который набрасывает тень на все предметы. Пожалей обо мне! И не анаю, когда будет конец моим мучениям!»

2

Первые шаги Батюшкова на поприще поэзии относятся ко времени пребывания его в доме М. Н. Муравьева. «Всем известно, что я многим обязан покойному автору, — писал он о Муравьеве, — его память будет мне драгоценна до поздних дней жизни и украсит их горестным и вместе сладким воспоминанием протекшего!»

М. Н. Муравьев был главным образом прозаик; проза его — это проза моралиста,

и морализм является характерным признаком его произведений. В главнейших его «Опытах» («Обитатель предместья» и «Эмилиевы письма») впечатления и «чувствования» автора составляют главный предмет писаний. И эта морализующая сторона деятельности Муравьева произвела наибольшее впечатление на Батюшкова. Он сочувственно цитирует его сентенции.

Но мораль Муравьева, когда он говорит о «симпатии прекрасных душ», о добродетели, о добром сердце и чистой совести, отличается сентиментальным вседовольством и пассивностью. Она бездеятельна и сводится к идеалу внутреннего совершенства («не вне, а в нас самих и бед и счастья семя») и к любованию красотами мира. Так, в «Эмилиевых письмах» он касается вопроса о труде крестьянина, «проливающего пот над собственной полосой».

Однако созерцание тяжелого крестьянского труда каводит Муравьева лишь на идиллические мечтания о том, как «в виду хижин и пастухов, при шуме падающего источника» он будет читать стихи Виргилия, где воспевается счастье земледельцев, хотя и не знающих богатства, но довольствующихся малым и терпеливых в труде.

В своих стихах М. Н. Муравьев не был смелым новатором; он в основном продолжал традицию XVIII века (его стихи относятся к 70-м и 80-м годам этого века):

«Хочу идти тою же стезею, какую шли Сумароков, Херасков, Майков, Княжнин, и отрицаюсь от всего другого», — говорил он. Тем не менее, элементы нового присутствуют в его стихах. В поэзии Муравьева сквозь обветшалую форму, сквозь реакционные настроения благодушного помещика пробивались и ростки нового, еще робкие. Это были проблески русского сентиментализма, пассивные, лишенные гражданского содержания, но уже преодолевавшие риторические формы классической поэзии, обращавшиеся к тем «чувствованиям» человеческой души, которые были предпосылками идей гуманизма, еще не осознанных автором. В его стихах, вольно или невольно, проявляются и поиски нового, получившего свое истинное развитие только в новом веке. Стихи Муравьева, как относящиеся к переходному периоду в русской поэзии, вскоре были основательно забыты, и лишь цитата из его стихотворения «Богине Невы» в авторских примечаниях к «Евгению Онегину» сохранила о нем память до наших дней.

Батюшков воспринял у него, конечно, не элементы традиции, а прогрессивные тенденции, те меланхолические размышления и описания, которые предопределили или предупредили расцвет элегической поэзии.

Смысл и направленность литературной деятельности Муравьева раскрылись перед Батюшковым в годы его близости с кружком

А. Н. Оленина, связанного с Муравьевым литературной и личной дружбой.

Кружок Оленина занимал позиции промежуточные. Имена Крылова и Шаховского, к которым Батюшков сохранил симпатии на всю свою жизнь, не определяют стиля, господствовавшего там. Этот стиль характеризуется именами А. Н. Оленина, В. Озерова, Н. Гнедича.

Интересы Батюшкова не были ограничены сферой одной поэзии. Он знал и чувствовал изобразительные искусства. Сам он был незаурядный дилетант-рисовальщик; в своей статье «Прогулка в Академию художеств» он дал образец художественной критики; в Одессе он заинтересовался раскопками в районе Ольвии; в Риме и Неаполе он поддерживал тесную связь с русскими художниками, входил в их профессиональные интересы, в их быт, давал им заказы, рекомендовал их другим заказчикам. Вкусы Оленина, а вслед за ним Батюшкова, всецело классические, академические. Характерно, с каким презрением писал Батюшков из Рима о неклассических традициях в скульптуре: «Здесь я видел собрание египетских статуй для двора баварского: по совести они жалки, и учиться над ними нечего. Могут быть интересны для антикварий или для истории искусства, но для художника — ни мало. Формы варварские!» С другой стороны, как искренни его восторги перед Апол-

лоном Бельведерским: «Он выше описания Винкельманова: это не мрамор, бог! Все копии этой бесценной статуи слабы, и кто не видал сего чуда искусства, тот не может иметь о нем понятия. Чтоб восхищаться им, не надо иметь глубоких сведений в искусствах: надобно чувствовать. Странное дело! Я видел простых солдат, которые с изумлением смотрели на Аполлона. Такова сила гения! Я часто захожу в музей единственно с тем, чтобы взглянуть на Аполлона, и, как от беседы мудрого мужа и милой, умной женщины, по словам нашего поэта, лучшим возвращаюсь» (последние слова — цитата из И. И. Дмитриева).

Этот классицизм вкусов соответствует столь же классическим принципам в трагедиях Озерова и всей деятельности Н. Гнедича по усвоению античных образцов эпоса. Данное направление было бы ошибочным смешивать с классицизмом французского толка, восходящим к «законодателям» XVII века. Классицизм, господствовавший до этого времени во Франции и в Европе, отлично уживался с мелочными и жеманными прикрасами в литературе, в живописи. Теперь же все изменилось. В архитектуре господствовал стиль *empiric*, осуществивший стремления, определившиеся еще в эпоху революции, драпироваться под Рим и римскую республику (соответственно — империю при Наполеоне), даже костюмы приняли формы античных tog и плащей, что в быту еще умерялось потреб-

ностями общения и моды и условиями климата, а на сцене господствовало безраздельно. В живописи, начиная с Давида, классические темы являлись определяющими. То же было в литературе. Новое «Возрождение» определилось: тяга к восстановлению античных форм, подражание латинской и греческой лирике; попытки воскрешения погибшего мира древности приобретали все большее развитие и значение, по мере того как раскопки в Помпее, принявшие правильный и систематический характер именно в начале века, воскрешали перед глазами европейцев эпохи «империи» уголок погребенного под пеплом древнего города.

Оленин и его кружок и были пропагандистами русского ампира, характерного для первой четверти XIX века.

Стиль «ампир» вовсе не сводился к слепому воспроизведению античных форм; этот стиль явился на смену классицизму XVIII века под влиянием борьбы «чувствительности» с хладнокровным остроумием поэзии придворных салонов. Чувствительность и была определяющим признаком нового стиля. От древности брались наиболее чувствительные произведения; в лирике переводились и служили предметом подражания элегии: Тибулл, Катулл, Проперций. Меланхолия, мечтательность пролагали пути и иным влияниям, далеким от древности: ампир находил источники литературных вдохновений далеко

от латинской и греческой древности, и не меньше, чем римские элегики, настроение века определяет Оссиан. «Северные поэмы» европейской литературы, темы скандинавской мифологии так же модны, как античные вазы и статуи.

Батюшков прошел сквозь эти влияния и увлечения. Воспитанный на французской литературе, он сквозь французские формы воспринял новые стремления. Элегическому направлению он учился у французского поэта Парни. В речи, читанной при вступлении в «Московское общество любителей русской словесности» (при университете), он во враждебно настроенной аудитории подчеркнул свою приверженность «эротической» поэзии, заимствуя этот термин из названия сборника элегий Парни: «Эротические стихи». В той же речи он формулировал идеал легкой поэзии, основанной на новом направлении в искусстве: простоте, ясности, гармоничности: «В легком роде поэзии читатель требует возможного совершенства, чистоты выражения, стройности в слоге, гибкости, плавности; он требует истины в чувствах и сохранения строжайшего приличия во всех отношениях».

Не менее увлекался Батюшков итальянской поэзией. Белинский писал: «Отечество Петрарки и Тасса было отечеством музыки русского поэта. Петрарка, Ариост и Тассо, особливо последний, были любимейшими поэтами Батюшкова». Сочинения по истории

итальянской литературы были его настольными книгами. «Чем более вникаю в итальянскую словесность, тем более открываю сокровищ истинно классических, испытанных веками», — писал он Вяземскому в 1817 г. И в том же письме он так отзывался о немецкой поэзии и о переводах Жуковского: «К чему переводы немецкие? Добро — философ. Но их-то у нас читать и не будут. Что касается до литературы их, собственно литературы, то я начинаю презирать ее. У них всё каряченье и судороги. Право, хорошего немного» (Батюшков делал исключение лишь для Шиллера, из которого и сам переводил). Об английской литературе Батюшков почти не отзывался: он не знал английского языка и читал английских поэтов только в переводах (лишь одно — позднее — стихотворение Батюшкова, не конченное, является подражанием Байрону: «Есть наслаждение и в дикости лесов...»).

И, наконец, к поэзии античной древности Батюшков испытывал любовь на протяжении всей своей поэтической жизни. Белинский писал: «Светлый и определенный мир изящной, эстетической древности — вот что было призванием Батюшкова. В нем первом из русских поэтов художественный элемент явился преобладающим элементом. В стихах его много пластики, много скульптурности».

Стремления, окрепшие в оленинском кружке, особенно в противопоставлении Шишкову

и шишковствующим, подготовили в Батюшкове союзника арзамасцев. По отношению к Шишкову, который признавал только допетровскую Россию, позиция Батюшкова была более непримиримой, чем позиция других членов оленинского кружка. Это он доказал сатирическим «Видением» и позднейшей пародией «Певец в Беседе».

Естественно, что прежде всего Батюшков отозвался на модные тогда и ожесточенные споры о языке. Это были споры о старом и новом. Шишков и его единомышленники, не принимая ничего нового, стремились вернуться к обветшалым формам мертвого книжного языка, чуть ли не к языку книжников допетровского времени, т. е. к церковно-славянскому. «Славянщина» господствовала в писаниях шишковцев. Но сама жизнь выдвигала потребность в обращении к живым источникам русского разговорного языка, тем более что «славянский» язык не имел средств, чтобы выразить новые чувства и новые мысли, занимавшие передовое русское общество. И это-то и было источником борьбы Шишкова за «славянщизну». Его учение было откровенно реакционным. Он хотел повернуть историю вспять. Всякая новая мысль пугала его, как призрак революции. Своих противников он обвинял в безбожии и стремлении ниспровергнуть самодержавную власть. Наоборот, карамзинисты, не чуждавшиеся умеренно либеральных идей, боролись

за русский язык, освобожденный от книжных пережитков старого. Борьбой русского с церковно-славянским и характеризуется спор о языке того времени. Однако необходимо оговориться, что карамзинисты, защищавшие живые формы русского языка, еще весьма ограниченно понимали истинные пути его развития. Только с приходом Пушкина в литературу открывается настоящая широкая и свободная дорога для развития русского литературного языка. Для карамзинистов не наступила ни пора полного освобождения от устаревшей «славянщины», ни пора широкого обращения к богатым источникам живой речи. Для них русский язык являлся языком дворянских салонов, несколько не освободившихся от подражания чужому. Самые задачи развития русского языка понимались как «способность выражать мысли просвещенного человека», а источники просвещения карамзинисты привыкли видеть на Западе.

Шишковскую «славянщину» Батюшков ненавидел. Когда в 1816 г. услышал он рассуждение Каченовского о языке Библии, он пришел в восторг: «Я не критик, я невежда, но кажется, он режет истину. Он утверждает, что Библия писана на сербском диалекте; ¹ то же, думаю, говорит и Карамзин. А славенский язык вовсе исчез; он

¹ Батюшков не мог знать ошибочности предположения Каченовского. Библия в действительности

чистый и не существовал, может быть, ибо под именем славен мы разумели все поколения славенские, говорившие разными наречиями, весьма отличными одно от другого. Он разбудит славенофилов. Если правду говорит Каченовский, то каков Шишков с партией! Они влюблены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они исказили язык наш славенщиною! Нет, никогда я не имел такой ненависти к этому мандаринному, рабскому татарско-славенскому языку, как теперь. Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостаиваюсь, что язык наш не терпит славенизмов, что верх искусства — похищать древние слова и давать им место в нашем языке, которого грамматика, синтаксис, одним словом, всё — противно сербскому наречию.

С арзамасцами Батюшков вступил в тесное общение до основания «Арзамаса». Приехав в Москву, он подружился с Вяземским, который приветствовал его боевое «Видение», и с Жуковским. Позднее в Петербурге он познакомился с Далшковым, Блудо-

переведена была на древнеболгарский язык (солунский диалект), который в русских церковных книгах видоизменился под влиянием русского языка. Но эта ошибка Каченовского не влияет на дальнейшие рассуждения: для Батюшкова важно, что язык церковных книг происходит от нерусского славянского диалекта, при этом диалекта мертвого.

вым, Уваровым. С последним его связывали интересы к древности. Единственное «арзамасское» произведение Батюшкова, написанное совместно с С. С. Уваровым и изданное отдельной брошюрой, это брошюра «О греческой антологии», предполагавшаяся для арзамасского журнала. Батюшков не участвовал в «Арзамасе» в боевой период его деятельности. Когда он прибыл в Петербург, «Арзамас» уже клонился к упадку. Пародические церемонии с традиционным гусем к заключительному ужину уже теряли свой боевой смысл, так как враждебная «Беседа» уже прекратила свое существование. Забавляясь на подобных собраниях, Батюшков не разделял восторга арзамасцев перед этого рода деятельностью. «Каждого арзамасца порознь люблю, но все они вкупе, как и все общества, бредят, карячатся и вредят», — писал он Гнедичу в феврале 1817 г.

В расчете на журнал Батюшков незадолго до этого прислал в «Арзамас» свою статью «Вечер у Кантемира». Чтение этой статьи происходило на 17-м заседании «Арзамаса» в присутствии Карамзина, Блудова, А. И. и Н. И. Тургеневых, Жуковского, Уварова и др. В протоколе значится: «Светлана (Жуковский) вместе с прочими гражданами любовалась искусным фиглярством отсутствующего члена Ахилла: фиглярством, говорю я, ибо Ахилл, как тосканский фигляр, показал нам в своем волшебном фонаре тени покойных

арзамасцев, французского Монтескье и греко-русского Кантемира. Они между собою говорят, как живые достойные члены «Арзамаса» (большей похвалы нет в лексиконе ученых обществ): иногда можно было узнать фигура по голосу, но тени покойников и за это коленцо не рассердятся».

Любопытен этот собственный голос Батюшкова, который слышали арзамасцы в речах собеседников «Вечера у Кантемира». В этой статье Батюшков заставляет Монтескье выражать сомнение в возможности развития литературы в России, а Кантемира доказывать, что Север (т. е. Россия) «беспреданно изменяется и прирастает к просвещенной Европе». Эту статью Батюшков считал интересной, но опасался, что цензура в ней что-нибудь вычеркнет. Повидимому, «нецензурная» часть статьи и есть «собственный» голос Батюшкова, рассчитанный на сочувственный отклик в «Арзамасе». Можно полагать, что это следующее место: «Вы знаете, что с успехами просвещения изменяются явным и неперменным образом все формы правления; вы заметили сии изменения в земле русской. Время всё разрушает и созидает, портит и усовершенствует. Может быть, через два или три столетия, может быть, и ранее (разговор предполагался в начале 40-х гг. XVIII века) благие небеса даруют нам гения, который постигнет вполне великую мысль Петра — и обширней-

шая земля в мире, по творческому гласу его, учинится хранилищем законов, свободы, на них основанной, нравов, дающих постоянство законам, одним словом — хранилищем просвещения. Лестные надежды! Вы сбудетесь, конечно. Благодетель семейства моего, — благодетель России (Петр), почивает во гробе; но дух его, сей деятельный, сей великий дух — не покидает страны, ему любезной: он всюду присутствует, всё оживляет, всему дает душу, и новую жизнь, и новую силу: он, кажется мне, беспрестанно вещает России: иди вперед! не останавливайся на поприще, мною отверзтом, и достигнешь великой цели, мной назначенной!»

Так понимал задачи русской культуры Батюшков и с этим он обратился к арзамасцам. Это едва ли не единственное его «общественное» выступление. В своих социально-политических убеждениях он был несамостоятелен, примыкая к умеренно-либеральным кругам. Его политические и социальные взгляды (например, по отношению к крепостным) не четки и основаны на выском тяготении к не вполне осознаным принципам гуманности и «просвещения». Он никогда не отличался передовым и смелым свободомыслием. В своей речи о легкой поэзии он допустил ряд совершенно официальных фраз, возмущивших человека политического мышления, декабриста Никиту Муравьева («Кто выбирал автора представите-

лем всех патриотов», — написал он против фразы о том, что все патриоты благословляют руку Александра I). Поэтому и тираду из «Вечера у Кантемира» надо понимать отнюдь не как формулировку политических взглядов автора, а как попытку перевести на язык общественно-политический устремленность своих культурных интересов и смысл своей деятельности, протекавшей в сфере чисто литературной работы.

8

Батюшков в своем творчестве примкнул к тому направлению в лирике, которое характеризуется стремлением к выражению субъективных чувствований. Это направление утверждалось в литературе с 70-х годов XVIII века.

Поэзия личного чувства являлась основной линией его лирики, но содержание ее менялось. Первые стихи Батюшкова, если не считать ряда дидактических сатир, воспевают наслаждение жизнью. Вся немудрая философия сводится к кратким изречениям:

Мечтанье есть душа поэтов и стихов. . .

Найдем ли в истинах мы голых

Печальных стойков и твердых мудрецов

Всю жизни брэнной сладость? . .

Глупцы пусть дорого сует блистанье ценят,

Лобзя прах златой у мраморных крыльцов!

Но счастью певцов

Удел есть скромна сень, мир, вольность и
спокойство.

(Мечта)

Когда жизнь наша скоротечна,
Когда и радость здесь не вечна,
То лучше в жизни петь, плясать,
Искать веселья и забавы
И мудрость с шутками мешать,
Чем, бегая за дымом славы,
От скуки и забот зевать . .

(Совет друзьям)

Эта философия беспечности, лени, наслаждений и поэтической мечтательности уже в первых стихотворениях осложнена предромантической меланхолией и сентиментальными настроениями переходного периода.

С первых шагов поэтической деятельности Батюшков решительно отказывается от высокой традиции оды XVIII века; он не хочет

. . . громку лиру взяв, пойти вослед Алкею,
Надувшись пузырем, родить один лишь дым. . .

Вместо громких од, он пишет тихие элегии:

Что в громких песнях мне? Доволен я мечтами,
В покойном уголке тихонько притаясь. . .

(Послания к Н. И. Гнедичу, 1805 г.)

Уединение, дружба, любовь, мирные радости жизни, поэтическая мечта, преклонение «чувствованиям» и «сердцу», отрицание «холодного рассудка», — вот темы, определившиеся в ранних элегических стихах Батюшкова. Одновременно выступает тема природы,

одушевленной, как бы участвующей в радостях поэта:

Луга веселые зелены,
Ручьи прозрачны, милый сад,
Ветвисты ивы, дубы, клены,
Под тенью вашею — прохлад
Ужель вкушать не буду боле?

(Совет друзьям, 1805 г.)

Свои меланхолические чувствования Батюшков пробовал передавать не только в элегиях, но и в баснях. И в этих баснях, далеких по самой сущности своего жанра от громких од и требовавших искренности и простодушия, ему удавалось передавать мечтательное любование природой («Пастух и Соловей» и др.). Но ни басня, ни сатира не были свойственны врожденным качествам его поэтического дарования. Основными формами его стихов являются элегии и дружеские послания.

С 1809 г. появляются произведения, доставившие Батюшкову известность: это — пародическое «Видение на берегах Леты», распространившееся в списках, элегические «Воспоминания 1807 года», лучшие переводы из Парни, из Тибулла; к 1811 г. относится большое «Дружеское послание» к Жуковскому и Вяземскому «Мои пенаты». Будучи подражательным, это послание в свою очередь послужило предметом для подражания; одним из таких подражаний является «Го-

родок» Пушкина. Для всех этих посланий характерен эпикурейский тон описания бедной хижины поэта, где он наслаждается любовью с «Лилетой»; центральной же частью является описание библиотеки поэта: перечислением и характеристикой любимых авторов поэт как бы формулирует свои литературные убеждения. В перечне «Моих пенатов» находится Ломоносов, Державин, Карамзин, Богданович, Дмитриев, Хемницер и Крылов. Первые два имени, как бесспорные, не определяли литературного направления, что же касается остальных, они чрезвычайно характерны для Батюшкова, вплоть до соединения имен Дмитриева и Крылова.

1812 г. вызвал у Батюшкова военные темы. Отсюда появляется его тяготение к оде. Одическая форма применена им в стихотворении «Переход через Рейн», но ода уже не возрождена в ее витийственно-торжественной форме; эти стихи переходят в элегические размышления, в которых от оды осталась широта темы (исторический пролог и картины прошлого вначале) и обязательный финал. Но общий тон уже диктуется в лучшем случае мотивами героики и мечтательности в духе модной тогда «северной» лирики, с обязательным упоминанием «туманных облаков», «нагорных водопадов» и именованнием поэтов «бардами». Более близким настроению поэзии Батюшкова является

следующее стихотворение той же строфической формы: «На развалинах замка в Швеции». Размышления и лирические картины на фоне преромантического «унылого» пейзажа уже господствуют в этой элегии. Мрачный оссианизм дает тему для развития. Оба этих произведения объединяются и несколько более широким, чем обычно, употреблением торжественно-книжного, архаического языка (славянизмы: «поднесь», «вой», т. е. войны, «внезапу», «и се», «хляби», «длани», «зри», «лики» и др.). Одическая природа элегии явствует из сличения ее с аналогичным стихотворением Пушкина «Воспоминания о Царском Селе», написанным подобной же строфой (слегка измененной).¹ В этой «монументальной» элегии душевные излияния поэта облекаются в формы исторических воспоминаний и размышлений о минувшем.

Оба эти стихотворения характерны для тех настроений, которые господствовали в поэзии так называемого «преромантизма». Этим словом принято называть те явления в литературе классицизма, в которых присутствуют некоторые признаки нового направления, получившие полное выражение в

¹ Сходство строк не случайно, как не случайны словесные совпадения, вроде следующих: у Батюшкова: «... скальд гремел на арфе зологой», у Пушкина: «О скальд России вдохновенный. . . взгреми на арфе золотой».

романтизме. Таким образом преромантизм есть явление переходное. В нем еще соблюдены все формы классической поэзии, но одновременно намечается и то, что ведет к романтизму. Это, прежде всего, ясное выражение личного (субъективного) отношения к описываемому, наличие «чувствительности» (у преромантиков — преимущественно мечтательно-меланхолической, иногда слезливой); чувство природы, при этом часто стремление к изображению природы непривычной; изображаемый пейзаж у преромантиков всегда гармонировал с настроениями поэта.

Эта поэзия не только подготовила романтическую, но влилась в нее. Впоследствии, в годы романтической полемики, некоторой частью критики эти произведения относили прямо к разряду романтических. Впрочем, наиболее смелые романтики причисляли их к поэзии классической, так как самый стиль и построение их произведений всецело определялись традицией классицизма (напр. выражение «пить вино из синих хрусталей», т. е. из рюмок синего стекла, принадлежит к типичным выражениям классической поэзии). Характерен спор Вяземского с Пушкиным об Озерове, представителе того же оденинского круга, что и Батюшков. Вяземский безоговорочно причислил Озерова к романтикам. Пушкин решительно оспаривал это. В то время как некоторые современники Батюшкова причисляли его к романти-

кам, Белинский характеризовал его поэзию как «подновленный классицизм» (противопоставляя романтизму Жуковского).

К этому же времени относится послание Дашкову, рисующее впечатление от разоренной Москвы, а также военные романсы Батюшкова, в числе их знаменитый «Гусар».

Написав несколько больших элегий, Батюшков мечтает о поэме, ищет для нее сюжета и проповедует отказ от мелкой эпикурейской лирики. Но ничего в этом роде им не завершено. Единственная повествовательная вещь — мало характерная для него аллегорическая сказочка «Странствователь и сосед». Подобных сказок Батюшков больше уже не писал, но элегий не оставлял. К 1816 г. относятся два главных произведения его в этом жанре: перевод из Мильвуа «Гезиод и Омир соперники» и оригинальное — «Умиравший Тасс». Батюшков в этих элегиях достиг своего расцвета. Любопытно, что именно в это время он перерабатывает свою раннюю элегию «Мечта».

В эти годы особенно сильно в поэзии Батюшкова звучат мотивы уныния. В частности, тема несчастного поэта особенно его занимает. Ей посвящена и элегия «Умиравший Тасс». Вместо того, чтобы воспевать тихие наслаждения жизнью, как в ранних стихах, Батюшков явно поддается чувству неудовлетворенности. Тоска по родной стране явилась темой ряда стихотворений («Гусар»,

«Пленный», «Тень друга», «Воспоминания»). Унылые темы разлуки, смерти овладевают поэтом:

Нет, нет, себя не узнаю
Под новым бременем печали!

«Нет, нет, мне бремя жизнь», — восклицает он. Поэта мучают сомнения, на которые рассудок не дает ответа; этого ответа он ждет от «сердца», но и в нем господствует уныние. Однако во всех его стихотворениях присутствует неутолимое желание найти выход и твердая надежда на то, что этот выход будет найден. Стихи приобретают философский характер, язык поэта достиг большой точности и выразительности.

Этими свойствами в высшей степени обладают стихи последнего периода. Они отличаются от предшествующих тем, что Батюшков уже не пишет «монументальных» элегий, предпочитая сжатую форму коротких лирических размышлений и изречений, облеченных в поэтические образы. Такова серия стихотворений из греческой антологии, переведенных для брошюры С. С. Уварова еще до отъезда в Италию, а затем ряд элегических отрывков («Подражания древним»), написанных в Шафгаузене в июне 1821 г. Это последнее произведение поэта. «Изречение Мельхиседека», замыкающее его творчество, относится к тому же роду. Лирические мысли, изложенные на протяжении

шести-восьми строк, — таковы последние стихи Батюшкова. Характерно, что не он один писал подобные вещи. В эти годы многие увлекались подобного рода короткими лирическими картинками, в которых соединялась античная строгость и пластика с выражением чувств, характерных для человека нового времени. Сюда относятся и южные «подражания древним» А. Пушкина, писанные им или в Крыму, или в результате крымских впечатлений в 1820 и 1821 гг.

Батюшков был последний русский поэт, творчество которого четко распределяется по лирическим жанрам. Но уже и его лирика перерастает жесткие рамки классических жанров. Повидимому, вместе с Гнедичем им создана схема «Опытов», поделенных на три части: элегия, послания, смесь. Последняя часть для Батюшкова действительно была только «смесью»: здесь соединены случайные произведения самого различного характера, иногда не типичные для его творчества басни, фрагменты переводных поэм, романсы, сказки, эпиграммы. Существенными являются два первых отдела. Что касается «посланий», то у Батюшкова они почти все написаны в том же роде, что и его «Пенаты»: это дружеские послания шуточного характера. Подобные послания хотя и вызвали подражания, но дальнейшего развития не получили; послания поэтов, писавших после Батюшкова, принадлежат по большей

части к иным разновидностям посланий и довольно скоро вообще отмирают в поэзии. Более жизнеспособным жанром была элегия. Если внимательно просмотреть состав отдела элегий в «Опытах» Батюшкова, то сразу явствуется разнообразие входящих в него произведений. Это не элегии Парни и его подражателей, где первая элегия открывает цепь подобных ей и как бы составляющих с ней одно целое. Здесь каждая новая элегия в каком-то отношении отличается от предыдущей. Ясно, что стихотворения, вошедшие в отдел элегий, уже перерастают рамки твердого жанра.

По схеме «Опытов» Батюшкова построены были первые сборники стихотворений Пушкина (1826) и Баратынского (1827). Но это были последние сборники с подобным жанровым распределением. Развитие русской лирики шло неудержимо к разрушению жанровых границ, и в дальнейшем тот круг произведений, который Батюшков называл элегиями, развился в «лирику вообще».

Заслугой Батюшкова и особенностью его поэзии является его работа над поэтическим языком. Вопрос о языке в сознании писателей начала XIX века был вопросом большого культурного значения. Излагая свои литературные убеждения и разъясняя смысл своей деятельности, Батюшков во вступительной речи в «Московском обществе любителей русской словесности» говорил: «Петр

Великий пробудил народ, усыпленный в око-
вах невежества; он создал для него законы,
силу военную и славу; Ломоносов пробудил
язык усыпленного народа; он создал ему
красноречие и стихотворство, он испытал
его силу во всех родах и притотавил для
грядущих талантов верные орудия к успе-
хам. Он возвел в свое время язык русский
до возможной степени совершенства — воз-
можной, говорю, ибо язык идет всегда на-
равне с успехами оружия и славы народной,
с просвещением, с нуждами общества, с
гражданскою образованностию и людоко-
стию». Язык современной ему литературы
Батюшков считал недостаточно обработан-
ным: «язык русский громкий, сильный и зы-
разительный, сохранил еще некоторую суро-
вость и упрямство, не совершенно исчезаю-
щие даже под пером опытного таланта, под-
держанного наукою и терпением». Задачи
преобразования языка Батюшков возлагал на
легкую поэзию, от нее он требовал совер-
шенства, чистоты выражения, стройности в
слоге, гибкости, плавности. «Красивость в
слоге здесь нужна, необходима и ничем за-
мениться не может».

В письмах Батюшкова встречаются очень
резкие отзывы о современном ему языке рус-
ской поэзии. Источник этого раздражения
заключался в том, что, по мнению Батюш-
кова, русские поэты не извлекали из русского
языка всех возможностей, и наступила пора

преобразовать так язык поэзии, чтобы добиться всей доступной слову гармонии. Нападая на современный ему русский литературный язык, Батюшков на деле с необычайной любовью и упорством стремился к развитию своего языка и к освобождению его от всяческих цепей, ограничивающих его выразительность.

Батюшков ставил себе в качестве идеала задачу достигнуть в звуках русского языка предельной музыкальности. Современники воспринимали его стих как особенно «сладостный», плавный. Плетнев писал в 1824 году: «Батюшков стоит на особенном, но равно прекрасном поприще (по сравнению с Жуковским). Он создал для нас ту элегию, которая Тибулла и Проперция сделала истолкователями языка граций. У него каждый стих дышит чувством; его гений в сердце. Оно внушило ему свой язык, который нежен и сладок, как чистая любовь. Игривость Парни и задумчивость Мильвуа, выражаемая какими-то итальянскими звуками, дают только понятие об искусстве Батюшкова».

Обратив всё внимание на борьбу с славянизмами и на «сладкозвучие» стиха, Батюшков почти не разрабатывал новых форм, заботясь лишь об усовершенствовании обычных форм стиха. Любимым размером Батюшкова был ямб. Он редко изменял ему ради хорей («Вакханка») или амфибрахия («Песнь Гаральда», начало стихотворения «Гезиод и

Омир», «Радость»; последнее стихотворение без рифм с дактилическими окончаниями). Одно стихотворение написано дактилем («Источник»). Среди ямбов у Батюшкова господствуют четырехстопные и вольные ямбы. Элегии вольного ямба и являются ритмическими формами, характерными для Батюшкова. Он достиг совершенства в смене стихов различной длины в согласии с внутренним движением темы. Вольный ямб Батюшкова может стать наравне с вольным ямбом басен Крылова или комедии Грибоедова, резко отличаясь от них лиричностью тона. Основные строки вольного ямба Батюшкова — шести- и четырехстопные. Батюшков любил их правильное чередование. Так написаны «Выздоровление», «К другу», «Есть наслаждение...» Повидимому, вслед за Батюшковым Пушкин применил эту форму в некоторых своих элегиях («Под небом голубым...», «Когда для смертного...», «На холмах Грузии...»).

Для «Умирающего Тасса» Батюшков выбрал особую, никем не употреблявшуюся форму, — сочетание шести- и пятистопных ямбов.

Наконец, в посланиях он часто употреблял трехстопный ямб, вообще характерный для этого рода стихотворений.

В мир мечты и фантазии пытался уйти Батюшков от тревожений жизни. Понадо-

бились грандиозные события Отечественной войны, чтобы раскрыть ему глаза на мир и его жизнь. Но и эти новые настроения не стали содержанием его поэзии. Только к ранним светлым и радостным тонам прибавилась трагическая нота внутренней неудовлетворенности. Вероятно, это ощущение трагичности и безвыходности его пути рано или поздно привело бы поэта к поискам выхода. Так, он мечтал о создании большого эпического произведения, хотя вряд ли на этом пути он нашел бы подлинное разрешение и подлинное содержание своей поэзии. Болезнь оборвала его жизнь в момент наиболее острого ощущения трагизма.

Всё это говорит об ограниченности творчества Батюшкова. Недаром Белинский писал о нем: «Поэзия Батюшкова скользит по жизни, едва цепляясь за нее; содержание ее весьма скудно и бедно. Самая художественность стиха его не достигла полного своего развития... Между превосходнейшими стихами у него встречаются негладкие и даже непоэтические; сверх того, верный преданиям русской поэзии и примеру отца ее Ломоносова, Батюшков очень и очень не чужд риторики».

И однако мы были бы неправы, ограничившись только указанием на бедность содержания поэзии Батюшкова. Хотя и на ограниченном поле, художественным инстинктом, поэтическим чутьем Батюшков отра-

зил в своей поэзии те новые стремления и чувства, которые ставят его рядом с Жуковским, как поэта, определившего перелом в общем направлении нашей поэзии и подготовившего путь к такому яркому явлению, каким был Пушкин. Мы видели школу Батюшкова. Ей он был обязан своим мастерством, но вместе с тем и своей ограниченностью. Сила Батюшкова чувствуется тогда, когда он преодолевает эту школу и проявляет свой оригинальный и незаурядный талант. Белинский очень часто сопоставляет имена Жуковского и Батюшкова, признавая, что первый был и крупнее и содержательнее. И вместе с тем, Батюшков вовсе не является только спутником Жуковского, он вовсе не повторяет его, и в некоторых отношениях он нам интереснее Жуковского.

«Нельзя сказать, чтоб поэзия его была лишена всякого содержания, не говоря уже о том, что она имеет свой совершенно самобытный характер; но Батюшков как-будто не сознавал своего призвания и не старался быть ему верным», — так определял роль Батюшкова Белинский.

В чем же этот инстинкт поэта, его «самобытность»? Белинский раскрывал это в сопоставлении именно с Жуковским: «Если неопределенность и туманность составляют отличительный характер романтизма в духе средних веков, — то Батюшков столько же классик, сколько Жуковский романтик: ибо

определенность и ясность — первые и главные свойства его поэзии».

И эти именно черты поэзии Батюшкова приобретают свое значение в свете дальнейших судеб русской литературы.

Постепенное разрушение феодального уклада еще в середине XVIII века вызвало к жизни новое направление в литературе и новые мотивы. Появилась поэзия «чувства», защита прав «души человека» на свободное проявление, вне тех рамок, какими было ограничено поведение человека в строго регламентированном абсолютистском феодально-дворянском государстве. То, что робко проявлялось в низовой литературе XVIII в., то на пороге нового века получило законченное выражение в творчестве Карамзина. Носителями этого нового направления у нас в России были преимущественно представители падающего, разорявшегося дворянства. Но не все понимали гражданское, освободительное значение новых идей. Сознательная борьба с отживавшим строем была уделом немногих. Голос Радищева был услышан много позднее времени его деятельности. Другие замыкались от враждебной действительности в личную жизнь, в поэзию мечты. В этом, может быть, заключался бессознательный протест против гражданских форм самодержавного государства. Но здесь была опасность уйти от жизни в заоблачные сферы мистических настроений. Этого не избежал Жуковский

И когда перед прогрессивными кругами русского общества всё яснее вставали задачи гражданской борьбы, поэзия Жуковского, учителя целого поколения поэтов, вдруг стала ощущаться как чуждая, приглушающая чувство жизни и волю к борьбе. Если рассматривать это в пределах литературных понятий, то и Жуковский и Батюшков были предшественниками нового направления, получившего название романтизма. Вождем русского романтизма явился Пушкин. Но романтизм 20-х годов был переходным периодом к реализму, сменившему романтизм в 30-х годах в творчестве самого Пушкина (начиная с «Евгения Онегина») и его ближайших последователей.

Вот почему так важно было, чтобы школа, которую прошли русские романтики (а это были, помимо Пушкина, и все поэты-декабристы), не отвращала их от жизни, не уводила в неопределенную «туманную даль».

И вот в этом-то отношении школа Батюшкова была выше школы Жуковского. Правда, влияние его было гораздо уже влияния Жуковского. Белинский писал: «Батюшков не имел почти никакого влияния на общество, пользуясь великим уважением только со стороны записных словесников своего времени». Это, с одной стороны, освобождает нас от необходимости останавливаться на тех сторонах его творчества, которые выходят за пределы интересов «записных словесников»;

но, с другой стороны, мы не должны забывать, что среди этих записных словесников был Пушкин, еще на лицейской скамье зачитывавшийся стихами Батюшкова.

Пластическая форма стихов Батюшкова отражала ощущение реальных наслаждений жизни, и это было чувство земное, приковывавшее к живой жизни, а не уводившее в мистическую даль. Белинский возводил это реальное начало в творчестве Батюшкова к его увлечению мотивами античного мира. Но он же был принужден сознаться, что Батюшков не так уж часто обращался к поэзии древних, а антологические пьесы, в которых чувство античного мира сильнее всего, относятся к последним годам его поэтической жизни, да и переведены они с французского. Конечно, это ощущение жизни было у Батюшкова неподдельным, ему лично присутшим. Белинский писал: «Чувство, одушевляющее Батюшкова, всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется в словах, не кружится на одной ноге вокруг самого себя, но движется, растет само из себя, подобно растению, которое, проглянув из земли стебельком, является пышным цветком, дающим плод».

Отсюда и та реформа в поэтическом языке, которую произвел Батюшков. Он показал путь к преодолению книжных риторических формул, господствовавших в поэзии XVIII века, формул, от которых не освобо-

для поэзию и такой исключительно одаренный поэт, каким был Державин. Вместо тяжелых торжественных оборотов, изображавших возвышенное «парение», Батюшков нашел слова, которые были восприняты современниками как «язык сердца».

Так понималось творчество Батюшкова и его младшими современниками. Бестужев, выражавший в своих критических статьях мнение поэтов-декабристов, писал о Батюшкове: «С Жуковского и Батюшкова начинается новая школа нашей поэзии. Оба они постигли тайну величественного гармонического языка русского; оба покинули старинное право ломать смысл, рубить слова для меры и нитью полубогатые рифмы». Достоинство поэзии Батюшкова Бестужев видит в том, что «он славит наслаждение жизни. Томная нега и страстное упоение любви попеременно одушевляют его, и, как электричество, сообщаются душе читателя. Неодолимое волшебство гармонии, игривость слога и выбор счастливых выражений довершают его победу» («Взгляд на старую и новую словесность в России»).

Подводя итоги, Белинский писал: «Бросая общий взгляд на поэтическую деятельность Батюшкова, мы видим, что его талант был гораздо выше того, что сделано им, и что во всех его произведениях есть какая-то недоконченность, неровность, незрелость. С превосходнейшими стихами мешаются у него

иногда стихи старинной фактуры, лучшие пьесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаических и растянутых мест».

И тем не менее нельзя отрицать, что Батюшков пришел в нужное время и сумел сказать, хотя и неполно, нужное слово.

Своевременность поэтической деятельности Батюшкова лучше всего доказывается усвоением его поэзии младшими его современниками. Элегия Батюшкова была ими подхвачена, разработана и развита. Непрерывная преемственность связывает Батюшкова с Пушкиным. Именно Пушкин осуществил и довершил то, что начал и не докончил Батюшков. Не случайным является то внимание, с которым следил за молодым Пушкиным Батюшков. Еще в 1815 году они познакомились, и Батюшков пытался отвлечь Пушкина от слишком сильного увлечения мотивами эпикурейства, внушенными его же собственными стихами. То, что не могли сделать советы Батюшкова (Пушкин решил «остаться при своем»), то совершилось впоследствии само собой. Уже в 1818 году Батюшков почувствовал в Пушкине большого поэта и заметил в нем «чуткое ухо»; повидимому, это свидетельствует, что в требованиях к благозвучию стиха и вкусы их сходились. Особенно интересует Батюшкова судьба поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». С 1818 г. он следит за ее созданием и из Италии пишет в 1819 году: «Просите

Пушкина именем Арноста выслать мне свою поэму, исполненную красот и надежды, если он возлюбит славу паче рассеяния».

В первые годы пребывания Пушкина в лицее Батюшков был его любимым поэтом. Его он считал образцовым поэтом и стремился подражать ему в своих первых стихотворениях.

Пушкин воспринял от Батюшкова искусство благозвучного стиха и точной поэтической речи. Правда, уже в первых своих опытах он пошел дальше своего учителя. У мальчика Пушкина язык поэзии отличается большей точностью, образы большей предметностью, в смешении обветшалых мифологических иносказаний с предметами окружающей действительности соблюдено большее чувство меры. Но если сравнить поэзию Батюшкова с поэзией его предшественников, то станет ясным, что Пушкин двигался по пути, уже указанному Батюшковым, и в первых опытах ушел от него не так далеко.

Приблизительно с 1816 г. Пушкин начал отходить от эпикурейских тем своего раннего творчества. Он стал писать «унылые» элегии. Вместе с тем он стал освобождаться от поглощающего влияния Батюшкова. Ведь в области меланхолической поэзии Батюшков мог явиться для Пушкина не меньшим образцом, чем в поэзии жизнерадостной. Однако точек соприкосновения между пессимистической поэзией Батюшкова этих лет и

влегиями Пушкина уже не так много. Его жалобы на любовные страдания и увядающую юность лишены того чувства отчаяния и сознания трагической обреченности, которое присутствует в последних стихах Батюшкова. Перед Пушкиным открывался широкий путь в жизнь. Поэзия Батюшкова заводила в тупик.

И в области поэтического языка Батюшков в эти годы является не единственным учителем Пушкина. Так, по его собственным словам, во многих отношениях он являлся учеником Жуковского. Мало того, Пушкин обращается к образцам, далеким одинаково и от Батюшкова и от Жуковского, постепенно обретая свой собственный богатый голос и находя в себе самом новые силы, избавляющие его от необходимости подражать кому бы то ни было. Он сознает себя не учеником, а соперником Батюшкова и Жуковского.

По окончании лицея, в период создания «Руслана и Людмилы», Пушкин чувствует себя уже свободным от учительства Батюшкова.

К 1817 г. относится пять замечаний Пушкина на принадлежавшем ему экземпляре «Опытов». В этих критических замечаниях он уже отделяет ценное от слабого и свободно высказывает свое мнение о поэте, которого не перестает любить.

Так, о сказке «Странствователь и домосед» Пушкин писал: «Плана никакого нет, цели не видно — всё вообще холодно, рас-

тянуто, ничего не доказывает и пр.» В прославленной элегии «Умиравший Тасс» он находит «добродушное историческое, но вовсе не поэтическое».

Это отзыв особенно характерен. «Умиравший Тасс» было последнее и самое крупное стихотворение Батюшкова. И автор и читатели считали его совершеннейшим произведением поэта, увенчавшим его сборник, вершиной его творчества. И вот это-то прославленное стихотворение Пушкин при самом его появлении встретил ироническим отзывом. Пути Пушкина и Батюшкова расходились. Впоследствии Пушкин так характеризовал эти стихи: «Эта элегия, конечно, ниже своей славы». «Сравните Сетования Тасса поэта Байрона с сим тощим произведением. Тасс дышал любовью, а здесь кроме славолубия и добродушия ничего не видно. Это — умирающий Василий Львович,¹ а не Торквато». Лучшим стихотворением Батюшкова Пушкин называл «Переход через Рейн», а «Беседка муз» вызвала восклицание «Прелесть!»

В дальнейшем Пушкин продолжал стремиться к той «гармонической точности, отличительной черте школы, основанной Жуковским и Батюшковым» (отзыв о «Карелии» 1830 г.), и, следовательно, причисляя

¹ Т. е. В. Л. Пушкин — дядя.

себя к той же школе, но уже, конечно, не в качестве ученика. Поэзия Батюшкова всё более отходила в прошлое.

Наиболее значительным вкладом Батюшкова в русскую литературу было создание русской элегии. Именно элегия была в центре внимания русских поэтов около 1820 года. Первое место в рядах молодых поэтов занимали элегики, стремившиеся передать в стихах всё разнообразие душевных переживаний человеческой личности. Но к этому времени элегии Батюшкова с их ограниченным психологическим и тематическим содержанием уже не могли удовлетворять читателя. Появились новые поэты — романтики, сумевшие полнее отразить чувства и мысли, волновавшие современного им человека. Именно в это время появляется Баратынский. Пушкин с восторгом приветствовал его. «Каков Баратынский? признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова, если впредь зашагает, как шаггал до сих пор».

Развитие элегии в начале 20-х годов показало, что Батюшков сделал на этом пути лишь первые шаги. В 1825 году, когда Батюшков уже закончил свой творческий путь, Пушкин писал о нем Рылеву: «Что касается Батюшкова, уважим в нем несчастья и несозревшие надежды». В это время Пушкин осознал уже не только неполноту элегий Батюшкова, но и ограниченность всего элегического направления в русской поэзии. В эти

годы он и Баратынский уже искали новых путей в поэзии за пределами романтической элегии. Они уже иными глазами смотрели на кумиров вчерашнего дня, уважая в них только прошлое, тот вчерашний день, без которого не наступил бы новый день в поэзии, но который уже не вернется. Чувства и мысли Батюшкова казались наивными и устарелыми. Оставалась одна гармония стиха и «роскошь» поэтического воображения.

В 1830 г., или около этого времени, Пушкин, внимательно перечитывая «Опыты» Батюшкова, нанес на поля книги много замечаний. На этот раз замечания были довольно жестоки. Пушкин отмечал слабые рифмы, вялые обороты, слабые выражения, «пошлые и растянутые сравнения». Так, стихотворение «Мечта» вызвало замечание: «Писано в молодости поэта. Самое слабое из всех стихотворений Б.» Отдельные стихи вызывали пометки: «детские стихи», «слабо», «дурно», и даже «какая дрянь».

И однако, судя Батюшкова со всей строгостью, Пушкин нашел в «Опытах» много прекрасных стихов. Так, элегия «Таврида» вызвала замечание: «По чувству, по гармонии, по искусству стихосложения, по роскоши и небрежности воображения — лучшая элегия Батюшкова». «К другу» — «Сильное, полное и блистательное стихотворение». «Мои пенаты» — «Это стихотворение дышит каким-то упоением роскоши, юности и наслаждения —

слог так и трепещет, так и льется — гармония очаровательна».

Многие отдельные стихи сопровождаются пометками: «прекрасно», «прелесть», «прелесть и совершенство — какая гармония», «живо, прекрасно».

Таким образом, какая-то доля обаяния от поэзии Батюшкова осталась у Пушкина на всю жизнь. Это подтверждается хотя бы и тем, что до конца жизни Пушкина в его стихах проскальзывают явные или скрытые цитаты из элегий Батюшкова. И в самом деле, некоторое сродство дарований Батюшкова и Пушкина сохранилось на протяжении всего творческого пути Пушкина. Недаром Беллинский утверждал, что «влияние Батюшкова на Пушкина виднее, чем влияние Жуковского. Это влияние особенно заметно в стихе, столь артистическом и художественном: не имея Батюшкова своим предшественником, Пушкин едва ли бы мог выработать себе такой стих». «Батюшков много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтобы имя его произносилось в истории русской литературы с любовью и уважением».

Б. Томащевский

ОПЫТЫ В СТИХАХ

Vade, sed incultus. . .

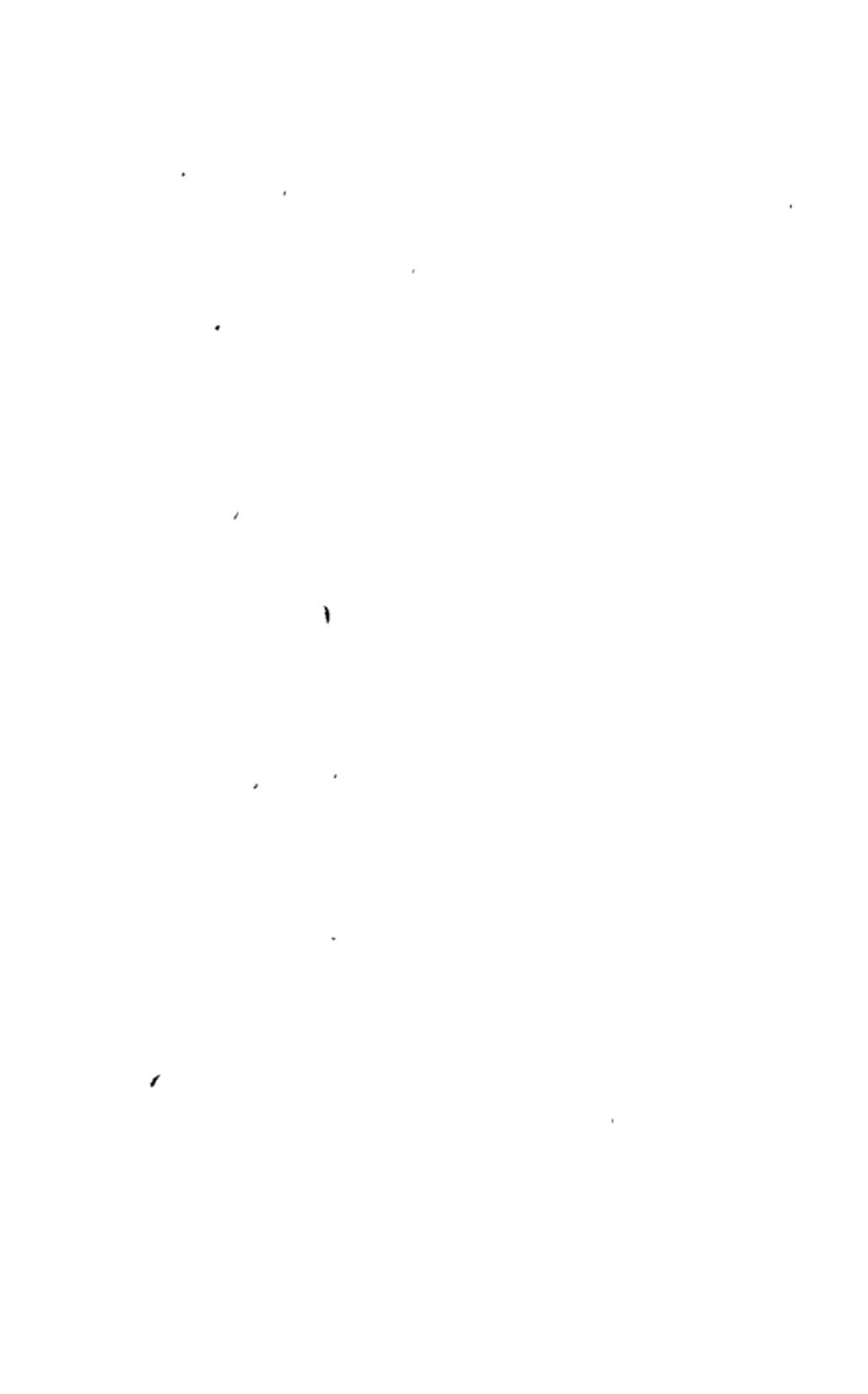


К ДРУЗЬЯМ

Вот список мой стихов,
Который дружеству быть может драгоценен.
Я добрым Гением уверен,
Что в сем Дедале рифм и слов
Недостает искусства:
Но дружество найдет мой, в замену, чувства,
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья;
Заботы, суеты, печали прежних дней,
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал;
Как вовсе умирал для света;
Как снова мой челнок фортуне поверял...
И словом, весь журнал
Здесь дружество найдет беспечного Певца,
Найдет и молвит так:
«Наш друг был часто легковерен;
Был ветрен в Пафосе; на Пинде был чудак;
Но дружбе он зато всегда остался верен;

Стихами никому из нас не докучал
(А на Парнасе это чудо!),
И жил так точно, как писал...
Ни хорошо, ни худо!»

ЭЛЕГНИ



УМИРАЮЩИИ ТАССО

... E come alpestre e rapido torrente,
Come acceso baleno
in notturno sereno,
Comè aura o fumo, o come stral repente,
Volan le nostre lame; ed ogni onore
Sembra languido fiore.

Che più si spera, o che s'attende omai!
Dopo trionfo e palma
Sol qui restano all'anima
Lutto e lamenti, o lagrimosi lai.
Che più giova amicizia o giova amore!
Ahi lagrime! ahi dolore!

Torrismondo, Tragedia di T. Tasso

Како́е торжество готовит древний Рим?
Куда текут народа шумны волны?
К чему с их аромат и мирры сладкий дым,
Душистых трав крутом кошницы полны?
До Капитолия от Тибровых валов,
Над стогнами всемирныя столицы,
К чему раскинуты средь лавров и цветов
Бесценные ковры и багряницы?
К чему сей шум? к чему тимпанов звук и
гром?
Веселья он или победы вестник?

Почто с хоругвией течет в молитвы дом
Под митрою апостолов наместник?
Кому, в руке его сей зыблется венец,
Бесценный дар признательного Рима;
Кому триумф? — Тебе, божественный певец!
Тебе сей дар... певец Ерусалима!
И шум веселия достиг до кельи той,
Где борется с кончиною Торквато:
Где над божественной страдальца головой
Дух смерти носится крылатый.
Ни слезы дружества, ни иноков мольбы,
Ни почестей столь поздняя награда, —
Ничто не укротит железная судьба, —
Не знающей к великому пощады.
Полуразрушенный, он видит грозный час,
С веселием его благословляет,
И, лебедь сладостный, еще в последний раз
Он, с жизнью прощаясь, восклицает:

«Друзья, о, дайте мне взглянуть на пышный
Рим,
Где ждет певца безвременно кладбище,
Да встречу взорами холмы твои и дым,
О древнее Квиритов пепелище!
Земля священная героев и чудес!
Развалины и прах красноречивый!
Лазурь и пурпур безоблачных небес,
Вы, тополи, вы, древние оливы,
И ты, о, вечный Тибр, поитель всех племен,
Засеянный костями граждан вселенной:
Вас, вас приветствует из сих унылых стен
Безвременной кончине обреченный!

Свершилось! Я стою над бездной роковой
И не вступаю при плесках в Капитолий;
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли,
От самой юности игралище людей,
Младенцем был уже изгнанник;
Под небом сладостным Италии моей
Скитаяся, как бедный странник,
Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился?
Где успокоился? где мой насущный хлеб
Слезами скорби не кропился?
Соренто! колыбель моих несчастных дней,
Где я в ночи, как трепетный Асканий,
Отторжен был судьбой от матери моей,
От сладостных объятий и лобзаний, —
Ты помнишь, сколько слез младенцем
пролил я!
Увы! с тех пор добыча злой судьбины
Все горести узнал, всю бедность бытия.
Фортуною изрытые пучины
Разверзлись подо мной, и гром не умолкал!
Из веси в весь, из стран в страну гонимый
Я тщетно на земли пристанища искал:
Повсюду перст ее неотразимый!
Повсюду молнии, карающей певца!
Ни в хижине оратая простого,
Ни под защитою Альфонсова дворца,
Ни в тишине безвестнейшего крова,
Ни в дебрях, ни в горах не спас главы моей
Бесславием и славой удрученной,

Главы изгнанника, от колыбельных дней
Карающей богине обреченной...
Друзья! но что мою стесняет страшно грудь?
Что сердце так и ноет и трепещет?
Откуда я? какой прошел ужасный путь,
И что за мной еще во мраке блещет?
Феррара... Фурии... и зависти змия!..
Куда? куда, убийцы дарованья!
Я в пристани. Здесь Рим. Здесь братья и
семья!

Вот слезы их и сладки лобызанья...
И в Капитолии — Виргилиев венец!
Так, я свершил назначенное Фебом.
От первой юности его усердный жрец,
Под молнией, под разъяренным небом
Я пел величие и славу прежних дней,
И в узах я душой не изменился.
Муз сладостный восторг не гас в душе моей,
И гений мой в страданьях укрепился.
Он жил в стране чудес, у стен твоих, Сион,
На берегах цветущих Иордана;
Он вопрошал тебя, мутящийся Кедрон,
Вас, мирные убежища Ливана!
Пред ним воскресли вы, герои древних дней,
В величии и в блеске грозной славы:
Он зрел тебя, Готфред, владыка, вождь царей
Под свистом стрел спокойный, величавый;
Тебя, молодой Ринальд, кипящий, как Ахилл,
В любви, в войне счастливый победитель.
Он зрел, как ты летал по трупам вражьих сил
Как огонь, как смерть, как ангел-
истребитель...

И тартар низложен сияющим крестом!
О, доблести неслыханной примеры!
О, наших праотцев, давно почивших сном,
Триумф святой! победа чистой веры!
Торквато вас исторг из пропасти времен:
Он пел — и вы не будете забвенны. —
Он пел: ему венец бессмертья обречен,
Рукою Муз и славы соплетенный.

Но поздно! я стою над бездной роковой
И не вступаю при плесках в Капитолий,
И лавры славные над дряхлой головой
Не усладят певца свирепой доли!»
Умолк. Унылый огонь в очах его горел,
Последний луч таланта пред кончиной;
И умирающий, казалось, хотел
У Парки взять триумфа день единый,
Он взором все искал Капитолийских стен,
С усилием еще приподнимался;
Но мукой страшною кончины изнурен,
Недвижимый на ложе оставался.
Светило дневное уж к западу текло
И в зареве багряном утопало;
Час смерти близился... и мрачное чело
В последний раз страдальца просияло.
С улыбкой тихою на запад он глядел...
И оживлен вечернею прохладой,
Десницу к небесам внимающим воздел,
Как празедник, с надеждой и отрадой.
«Смотрите, — он сказал рыдающим
друзьям, —
Как царь светил на западе пылает!

Он, он зовет меня к безоблачным странам,
Где вечное светило засияет...
Уж ангел предо мной, вожатый оных мест;
Он осенил меня лазурными крилами...
Приблизьте знак любви, сей таинственный
крест...

Молитесь с надеждой и слезами...
Земное гибнет все... и слава и венец...
Искусств и Муз творенья величавы,
Но там все вечное, как вечен сам творец,
Податель нам венца небренной славы!
Там всё великое, чем дух питался мой,
Чем я дышал от самой колыбели.
О, братья! о, друзья! не плачьте надо мной:
Ваш друг достиг давно желанной цели.
Отыдет с миром он и, верой укреплен,
Мучительной кончины не приметит:
Там, там... о, счастье!.. среди непорочных
жен;

Среди ангелов, Элеонора встретит!»

И с именем любви божественный погас;
Друзья над ним в безмолвии рыдали,
День тихо догорал... и колокола глас
Разнес кругом по стогнам весть печали.
«Погиб Торквато наш! — воскликнул
с плачем Рим.

Погиб певец, достойный лучшей
доли!..»

Наутро факелов узрели мрачный дым;
И трауром покрылся Капитолий.

НАДЕЖДА

Мой дух! доверенность к творцу!
Мужайся; будь в терпении камень.
Не он ли к лучшему концу
Меня провел сквозь бранный пламень?
На поле смерти, чья рука
Меня таинственно спасала
И жадный крови меч врага,
И град свинцовый отражала?
Кто, кто мне силу дал сносить
Труды и глад и непогоду, —
И силу — в бедстве сохранить
Души возвышенной свободу?
Кто вел меня от юных дней
К добру, стезею потаенной,
И в буре пламенных страстей
Мой был вожатай неизменный?

Он! он! Его все дар благой!
Он есть источник чувств высоких
Любви к изящному прямой
И мыслей чистых и глубоких!
Все дар его, и краше всех
Даров — надежда лучшей жизни!

Когда ж узрю спокойный брег,
Страну желанную отчизны?
Когда струей небесных благ
Я утолю любви желанье,
Земную ризу брошу в прах
И обновлю существованье?

НА РАЗВАЛИНАХ ЗАМКА В ШВЕЦИИ

Уже светило дня на западе горит,
И тихо погрузилось в волны!..
Задумчиво луна сквозь тонкий пар глядит
На хляби и берега безмолвны.
И все в глубоком сне поморие крутом.
Лишь изредка рыбарь к товарищам зовет;
Лишь эхо глас его протяжно повторяет
В безмолвии ночном.

Я здесь, на сих скалах, висящих над водой,
В священном сумраке дубравы,
Задумчиво брожу, и вижу пред собой
Следы протекших лет и славы:
Обломки, грозный вал, поросший злаком ров,
Столбы — и ветхий мост с чугунными цепями,
Твердыни мшистые с гранитными зубцами
И длинный ряд гробов.

Все тихо: мертвый сон в обители глухой.
Но здесь живет воспоминанье:
И путник, опершись на камень гробовой,
Вкушает сладкое мечтанье.
Там, там, где вьется плющ по лестнице
крутой,

И ветер колышет стебель иссохшая полыни,
Где месяц осребрил угрюмые твердыни
Над спящею водой,

Там воин некогда, Одена храбрый внук,
В боях приморских поседельи,
Готовил сына в брань, и стрел пернатых пук,
Броню заветну, меч тяжелый
Он юноше вручил израненной рукой;
И громко восклицал, подъяв дрожащи длани:
Тебе он обречен, о бог, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

А ты, мой сын, клянись мечом своих отцов,
И Гелы клятвою кровавой,
На западных струях быть ужасом врагов,
Иль пасть, как предки пали, с славой!
И пылкий юноша меч прадедов лобзал,
И к персям прижимал родительские длани,
И в радости, как конь при звуке новой
брани,
Кипел и трепетал.

Война, война врагам отеческой земли! —
Суда наутро восшумели,
Запнулись моря, и быстры корабли
На крыльях бури полетели!
В долинах Нейстрии раздался браней гром,
Туманный Альбион из края в край пылает,
И Гела день и ночь в Валкалу провождает
Погибших бледный сонм.

Ах, юноша! спеши к отеческим брегам,
Назад лети с добычей бранной;
Уж веет кроткий ветер во след твоим судам,
Герой, победою избранный!
Уж скальды пиршество готовят на холмах,
Уж дубы в пламени, в сосудах мед сверкает.
И вестник радости отцам провозглашает
Победы на морях.

Здесь в мирной пристани, с денницей золотой
Тебя невеста ожидает.
К тебе, о юноша, слезами и мольбой
Богов на милость преклоняет...
Но вот в тумане там, как стая лебедей,
Белеют корабли, несомые волнами;
О, вей, попутный ветер, вей тихими устами
В ветрила кораблей!

Суда у берегов, на них уже герой
С добычей жен иноплеменных;
К нему спешит отец с невестою молодой
И лики скальдов вдохновенных.
Красавица стоит, безмолвствуя, в слезах,
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет,
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет,
Как месяц в небесах...

И там, где камней ряд, седым одетый мхом,
Помост обрушенный являет,
Повременно сова в безмолвии ночном
Пустыню криком оглашает;
Там чаши радости стучали по столам,

Там храбрые кругом с друзьями ликовали,
Там скальды пели брань, и персты их летали
По пламенным струнам.

Там пели звук мечей и свист пернатых стрел,
И треск щитов и гром ударов,
Кипящу брань среди опустошенных сел,
И грады в зареве пожаров;
Там старцы жадный слух склоняли к песне
сей,

Сосуды полные в десницах их дрожали,
И гордые сердца с восторгом вспоминали
О славе юных дней.

Но всё покрыто здесь угрюмой ночью мглой,
Всё время в прах преобратило!
Где прежде скальд гремел на арфе золотой,
Там ветер свищет лишь уныло!
Где храбрый ликовал с дружиною своей,
Где жертвовал вином отцу и богу брани,
Там дремлют, притаясь, две трепетные лани,
До утренних лучей.

Где ж вы, о сильные, вы галлов бич и
страх,
Земель полнощных исполины,
Роальда слутники, на бранных челноках
Протекши дальные пучины?
Где вы, отважные толпы богатырей,
Вы, дикие сыны и брани и свободы,
Возникшие в снегах, средь ужасов природы,
Средь копий, средь мечей? —

Погибли сильные! — Но странник в сих
местах

Не тщетно камни вопрошает,
И руны тайные, останки на скалах

Угрюмой древности читает.

Оратай ближних сел, склонясь на посох свой,

Гласит ему: смотри, о сын иноплеменный,

Здесь тлеют праотцев останки драгоценны;

Почти их гроб святой!

ЭЛЕГИЯ ИЗ ТИБУЛЛА

Вольный перевод

Месалла! без меня ты мчишься по волнам
С орлами Римскими к восточным берегам;
А я, в Феакии оставленный друзьями,
Их заклинаю всем, и дружбой и богами,
Тибулла не забыть в далекой стороне, —
Здесь Парка бледная конец готовит мне,
Здесь жизнь мою прервет безжалостной
рукою. . .

Неумолимая! Нет матери со мною!
Кто будет принимать мой пепел от костра?
Кто будет без тебя, о, милая сестра,
За гробом следовать в одежде погребальной
И миро изливать над урною печальной?
Нет друга моего, нет Делии со мной, —
Она и в самый час разлуки роковой
Обряды тайные и чары совершала:
В священном ужасе бессмертных вопрошала;
И жребий счастливый нам отрок вынимал.
Что пользы от того? Час гибельный настал
И снова Делия, печальна и уныла,
Слезами полный взор невольно обратила
На дальний путь. Я сам, лишенный
скорбью сил,

«Утешься», Делия сквозь слезы говорил:
«Утешься!» — и еще с невольным трепетаньем
Печальную лобзал последним лобызаньем.
Казалось, некий бог меня останавлиал:
То ворон мне беду внезапно предвещал,
То в день, отцу богов, Сатурну посвященный,
Я слышал гром глухой за рощей отдаленной.
О, вы, которые умеете любить,
Страшится любовь разлукой прогневить!
Но, Делия, к чему Изиде приношенья,
Сии в ночи глухой протяжны песнопенья,
И волхованье жриц, и меди звучный стон?
К чему, о, Делия, в безбрачном ложе сон,
И очищения священной водою?
Всё тщетно, милая, Тибулла нет с тобою.
Богиня грозная! спаси его от бед,
И снова Делия мастики принесет,
Украсит дивный храм весенними цветами,
И с распущенными по ветру волосами,
Как дева чистая, во ткань облечена,
Воссядет на помост: и звезды, и луна,
До восхождения румяная Аврора,
Услышат глас ее и жриц Фарийских хоры.
Отдай, богиня, мне родимые поля,
Отдай знакомый шум домашнего ручья,
Отдай мне Делию: и вам дары богаты
Я в жертву принесу, о Лары и Пенаты!
Зачем мы не живем в золотые времена?
Тогда беспечные народов племена
Путей среди лесов и гор не пролагали:
И ралом никогда полей не раздирали;
Тогда не мчалась ель на легких парусах,

Несома ветрами в лазоревых морях;
И кормчий не дерзал по хлябям разъяренным,
С Сидонским багрецом и с золотом

бесценным

На утлом корабле скитаться здесь и там.
Дебелый вол бродил свободно по лугам,
Топтал душистый злак и спал в тени

зеленой;

Конь борзый не кропил узды кровавой пеной;

Не зрели на полях столпов и рубежей

И кущи сельские стояли без дверей;

Мед капал из дубов янтарною слезою;

В сосуды молоко обильною струею

Лилося из сосцов питающих овец...

О, мирны пастыри, в невинности сердец

Беспечно жившие среди пустынь безмолвных!

При вас, на пагубу друзей единокровных,

На наковальне млат не изваял мечей,

И ратник не гремел оружием среди полей.

О, век Юпитеров! О, времена несчастны!

Война, везде война и глад, и мор ужасный,

Повсюду рыщет смерть, на суше, на водах...

Но ты, державший гром и молнию в руках!

Будь мирному певцу Тибуллу благосклонен.

Ни словом, ни душой я не был вероломен;

Я с трепетом богов отчизны обожал,

И, если мой конец безвременный настал —

Пусть камень обо мне прохожим возвещает:

«Тибулл, Месаллы друг, здесь с миром

почивает».

Единственный мой бог и сердца властелин,

Я был твоим жрецом, Киприды милый сын!

До гроба я носил твои оковы нежны,
А ты, Амур, меня в жилища безмятежны,
В Элизий приведешь таинственной стезей,
Туда, где вечный Май меж рощей и полей,
Где расцветает нарцисс и киннамона лозы,
И воздух напоен благоуханьем розы;
Там слышно пенье птиц и шум бьющих вод;
Там девы юные, сплетая в хоровод,
Мелькают меж деревьев, как легки привиденья;
И тот, кого постиг, в минуту упоенья,
В объятиях любви, неумолимый рок,
Тот носит на челе из свежих мирт веноч.
А там, внутри земли, во пропастях ужасных
Жилище вечное преступников несчастных,
Там реки пламенны сверкают по пескам,
Мегера страшная и Тизифона там:
С челом, опутанным шипящими змиями,
Бегут на дикий брег за бледными тенями.
Где скрыться? адский пес лежит у медных
врат,
Рыкает зев его... и рой теней назад!..
Богами ввержены во пропасти бездонны,
Ужасный Энкелад и Тифий преогромный
Питают жадных птиц утробой своей.
Там хищный Иксион, окованный змией,
На быстром колесе вертится бесконечно;
Там в жажде пламенной Тантал
бесчеловечный
Над холодной рекой сгорает и дрожит;
Всё тщетно! вспять вода коварная бежит,
И черпают ее напрасно Данаиды,
Все жертвы вечные карающей Киприды.

Пусть там страдает тот, кто рушил наш покой
И разлучил меня, о Делия, с тобой!
Но ты, мне верная, друг милый и бесценный
И в мирной хижине, от взоров сокровенной,
С наперсницей любви, с подругою твоей,
На миг не покидай домашних алтарей.
При шуме зимних вьюг, под сенью

безопасной,

Подруга в темну ночь зажжет светильник

ясный

И, тихо вретено кружа в руке своей,

Расскажет повести и были старых дней.

А ты, склоняя слух на сладки небылицы,

Забудешься, мой друг, и томные веницы

Закроет тихий сон, и пряслица из рук

Падет... и у дверей предстанет твой супруг,

Как небом посланный внезапно добрый гений.

Беги навстречу мне, беги из мирной сени,

В прелестной нагоде явись моим очам,

Власы развеяны небрежно по плечам,

Вся грудь лилейная и ноги обнажены...

Когда ж Аврора нам, когда сей день

блаженный

На розовых конях, в блистаньи принесет,

И Делию Тибулл в восторге обоймет?

ВОСПОМИНАНИЕ

Мечты! — повсюду вы меня сопровождали,
И мрачный жизни путь цветами устилали!
Как сладко я мечтал на Гейльсбергских
полях,

Когда весь стан дремал в покое,
И ратник, опершись на колюе стальное,
Смотрел в туманну даль! Луна на небесах
Во всем величии блистала

И низкий мой шалаш сквозь ветви освещала;
Аль светлый чуть струю ленивую катил,
И в зеркальных водах являл весь стан и
рощи;

Едва дымился огонь в часы туманной ночи,
Близ кущи ратника, который сном почил.
О, Гейльсбергски поля! о, холмы
возвышенны!

Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я, в думу погружен, о родине мечтал;
О, Гейльсбергски поля! В то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих
холмов.

Что я, мечтатель ваш счастливый,
На смерть летя против врагов,
Рукой закрыв тяжелу рану.

Едва ли на заре сей жизни не увяну. —
И буря дней моих исчезла, как мечта!..

Осталось мрачно вспоминанье...

Между протекшего есть вечная черта:

Нас сблизит с ним одно мечтанье.

Да оживлю теперь я в памяти своей

Сию ужасную минуту,

Когда, болезнь вкушая люту

И видя сто смертей,

Боялся умереть не в родине моей!

Но небо, вняв моим мольбам усердным,

Взглянуло оком милосердным;

Я, Неман переплыв, узрел желанный край,

И, землю лобызав с слезами,

Сказал: «Блажен стократ, кто с сельскими
богами,

Спокойный домосед, земной вкушает рай,

И, шага не ступя за хижину убогу,

К себе богиню быстроногу

В молитвах не зовет!

Не слеп ко славе он любовью,

Не жертвует своим спокойствием и кровью;

Могилу зрит свою и тихо смерти ждет».

На крае гибели так я зову в спасенье

Тебя, последняя надежда, утешенье!

Тебя, последний сердца друг!

Средь бурей жизни и недуг,

Хранитель ангел мой, оставленный мне

богом! . .

Твой образ я таил в душе моей залогом

Всего прекрасного. . . и благодати творца. —

Я с именем твоим летел под знамя брани

Искать или славы, или конца;

В минуты страшные чистейши сердца дани

Тебе я приносил на Марсовых полях:

И в мире и в войне, во всех земных краях

Твой образ следовал с любовью за мною;

С печальным странником он неразлучен стал.

Как часто в тишине, весь занятый тобою,

В лесах, где Жувизи гордится над рекою,

И Сейна по цветам льет сребренный кристалл,

Как часто средь толпы и шумной и

беспечной,

В столице роскоши, среди прелестных жен,

Я пенье забывал волшебное сирен

И о тебе одной мечтал в тоске сердечной,

Я имя милое твердил

В прохладных рощах Альбиона,

И Эхо называть прекрасную учил

В цветущих пажитях Ричмона.

Места прелестные и в дикости своей,

О камни Швеции, пустыни скандинавов,

Обитель древняя и доблести и нравов!

Ты слышала обет и глас любви моей,

Ты часто странника задумчивость питала,

Когда румяная денница отражала
И дальние скалы гранитных берегов,
И села пахарей, и кущи рыбаков
Сквозь тонки утренни туманы
На зеркальных водах пустынной Троллетаны.

• • • • •

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Как ландыш под серпом убийственным
жнеца

Склоняет голову и вянет:

Так я в болезни ждал безвременно конца

И думал: Парки час настанет.

Уж очи покрывал Эреба мрак густой,

Уж сердце медленнее билось:

Я вянул, исчезал, и жизни молодой,

Казалось, солнце закатилось.

Но ты приблизилась, о жизнь души моей,

И алых уст твоих дыханье,

И слезы пламенем сверкающих очей,

И поцелуев сочетанье,

И вздохи страстные, и сила милых слов

Меня из области печали,

От Орковых полей, от Леты берегов

Для сладострастия призывали.

Ты снова жизнь даешь; она твой дар

благой;

Тобой дышать до гроба стану.

Мне сладок будет час и муки роковой;

Я от любви теперь увяну.

МЩЕНИЕ

Из Парни

Неверный друг и вечно милый!
Зарю моих счастливых дней
И слезы радости и клятвы легкокрылы,
Всё время унесло с любовью твоей!
И всё погибло невозвратно,
Как сладкая мечта, как утрое сон приятный!
Но все любовью здесь исполнено моей
И клятвы страшные твои напоминает.
Их помнят и леса, их помнит и ручей,
И вхо томное их часто повторяет.
Вглянни: здесь в первый раз я встретился
с тобой,
Ты здесь, подобная лилее белоснежной,
Валелеяной в садах Авророй и весной,
Под сенью безмятежной,
Цвела невинностью близ матери твоей.
Вот здесь я в первый раз вкусил надежды
сладость;
Здесь жертвы приносил у мирных алтарей.
Когда твою грозилась младость
Болезнь жестокая во цвете погубить:
Здесь клялся, милый друг, тебя не
пережить!

Но с новой прелестью ты к жизни
воскресала,
И в первый раз люблю краснея сказала.
(Тому сей дикий бор немой свидетель был.)
Твоя рука в моей то млела, то пылала,
И первый поцелуй с душою душу слил.
Там взор потупленный назначил мне
свиданье

В зеленом сумраке развесистых деревьев,
Где льется в воздухе сирен благоуханье
И облако цветов скрывает свод небес;
Там ночь ненастная спустила покрывало,
И страшно загредел над нами ярый гром;
Все небо в пламени зарделось кругом,
И в роще сумрачной сверкало.
Напрасно! ты была в объятиях моих,
И к новым радостям ты воскресала в них!
О, пламенный восторг! о, страсти упоенье!
О, сладострастие... себя, всего забвенье!
С ее любовью утраченны навек,
Вы будете всегда изменнице упрек:
Воспомянанье ваше,
От времени еще прелестнее и краше,
Ее преступное блаженство помрачит,
И сердцу за меня коварному отмстит
Неизлечимую, жестокою тоскою.
Так! всюду образ мой увидишь пред собою,
Не в виде прежнего любовника в цепях,
Который с нежностью сквозь слезы упрекает
И жребий с трепетом читает
В твоих потупленных очах.

ПРИВИДЕНИЕ

Из Парни

Посмотрите! в двадцать лет
Бледность щеки покрывает;
С утром вянет жизни цвет:
Парка дни мои считает
И отсрочки не дает.
Что же медлить! Ведь Зевеса
Плач и стон не укротит.
Смерти мрачной занавеса
Упадет — и я забыт! —
Я забыт... но из могилы,
Если можно воскресать,
Я не стану, друг мой милый,
Как мертвец тебя пугать.
В час полуночных явлений
Я не стану в виде тени
То внезапно, то тишком,
С воплем в твой являться дом.
Нет, по смерти, невидимкой
Буду вкруг тебя летать;
На груди твоей под дымкой
Тайны прелести лобзать;
Стану всюду развеять
Легким уст прикосновеньем,

Как Зефира дуновеньем,
От каштановых волос
Тонкий запах свежих роз.
Если лилия листьями
Ко груди твоей прильнет;
Если яркими лучами
В камельке огонь блеснет;
Если пламень потаенный
По ланитам пробежал;
Если пояс сокровенный
Развязался и упал —
Улыбнися, друг бесценный,
Это я! — Когда же ты,
Сном закрыв прелестныя очи,
Обнажишь во мраке ночи
Роз и лилий красоты,
Я вздохну... и глас мой томный,
Арфы голосу подобный,
Тихо в воздухе умрет.
Если ж легкими крилами
Сон глаза твои сомкнет,
Я невидимо с мечтами
Стану плавать над тобой.
Сон твой, Хлоя, будет долог...
Но когда блеснет сквозь полог
Луч денницы золотой,
Ты проснешься... о блаженство!
Я увижу совершенство...
Тайны прелести красот,
Где сам пламенный Эрот
Оттенил рукой своею
Розой девственну лилею;

Все опять в моих глазах!
Все покровы исчезают;
Час блаженнейший!.. Но, ах!
Мертвые не воскресают.

ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ III

Из III книги

Напрасно осыпал я жертвенник цветами,
Напрасно фимиами курил пред алтарями;
Напрасно: — Делии еще с Тибуллом нет.
Бессмертны! слышали вы скромный мой
обет!

Молил ли вас когда о почестях и злате?
Желал ли обитать во мраморной палате?
К чему мне пажитей обширная земля,
Златыми класами венчаные поля,
И стадо кобылиц, рабами охраненно?
О бедности молил, с тобою разделенной!
Молил, чтоб смерть меня застала при тебе.
Хоть нища, но с тобой!.. К чему желать
себе

Богатства Азии или волов дебелых?
Ужели более мы дней сочтем веселых
В садах и в храминах, где дивный ряд
столбов

Иссечен хитростью наемных пришлецов;
Где все один порфир Тенара и Кариста,
Помосты мраморны и урны злата чиста;
Лука пространные, где силою трудов
Легла священна тень от кедровых лесов?

К чему Эритрские жемчужины бесценны
И руны Тирские, багрянцем напоенны?
В богатстве ль счастье? В нем призрак,
тщетный вид!

Мудрец от Лар своих за златом не бежит;
Колен пред случаем вовек не преклоняет
И в хижине своей с фортуной обитает!
И бедность, Делия, мне радостна с тобой!
Тот кров соломенный Тибуллу — золотой,
Под коим сопряжен любовью с тобою,
Сто крат благословен!.. Но если предо мною
Бессмертные весов судьбы не преклонят:
Утешит ли тогда сей Рим, сей пышный
град?

Ах! нет! — и золото блестящего Пактола,
И громкой славы шум, и самый блеск
престола

Без Делии ничто, а с ней и куща — храм,
Безвестность, нищета завидны небесам!
О, дочь Сатурнова! услышь мое моленье!
И ты, любви мать! Когда же Парк
сужденье,

Когда суровых сестр противно вретено,
И Делией владеть Тибуллу не дано,
Пускай теперь сойду во области Плутона,
Где блата топкие и воды Ахерона
Широкой цепью вокруг ада облежат,
Где беспробудным сном печальны тени спят.

МОЙ ГЕНИЙ

О память сердца! ты сильнее
Рассудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны золотые .
Небрежно вьющихся волос.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? прикиннет к изголовью
И усладит печальный сон.

ТЕНЬ ДРУГА

Sunt aliquid manes: letum non omnia finit;
Luridaque evictos effugit umbra rogos.

Propert

Я берег покидал туманный Альбиона:
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.
За кораблем вилась Гальциона,
И тихий глас ее пловцов увеселял.
Вечерний ветер, валов плесканье,
Однообразный шум и трепет парусов,
И кормчего на палубе взыванье
Ко страже дремлющей под говором валов;
Все сладкую задумчивость питало.
Как очарованный, у мачты я стоял,
И сквозь туман и ночи покрывало
Светила Севера любезного искал.
Вся мысль моя была в воспоминанье,
Под небом сладостным отеческой земли,
Но ветров шум и моря колыханье
На вежды томное забвенью навели.
Мечты сменялися мечтами,
И вдруг... то был ли сон?... предстал
товарищ мне,

Погибший в роковом огне
Завидной смертью, над Плейсскими струями.

Но вид не страшен был; чело

Глубоких ран не сохраняло,

Как утро майское, веселием цвело,

И все небесное душе напоминало.

«Ты ль это, милый друг, товарищ лучших
дней!

Ты ль это? — я вскричал, — о воин вечно

милый!

Не я ли над твоей безвременной могилой,
При страшном зареве Беллониных огней,

Не я ли с верными друзьями

Мечом на дереве твой подвиг начертал,

И тень в небесную отчизну провождал

С мольбой, рыданьем и слезами?

Тень незабвенного! ответствуй, милый брат!

Или протекшее все было сон, мечтанье;

Все, все, и бледный труп, могила и обряд,

Свершенный дружбою в твое воспоминанье?

О! молви слово мне! пускай знакомый звук

Еще мой жадный слух ласкает,

Пускай рука моя, о незабвенный друг!

Твою с любовью сжимает...»

И я летел к нему... Но горний дух исчез

В бездонной синеве безоблачных небес,

Как дым, как метеор, как призрак полуночи.

Исчез, — и сон покинул очи. —

Все спало вкруг меня под кровом тишины;

Стихии грозные казались безмолвны.

При свете облаком подернутой луны,

Чуть веял ветерок, едва сверкали волны,

Но сладостный покой бежал моих очей,
И все душа за призраком летела,
Все гостя горнего остановить хотела:
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!

ТИБУЛЛОВА ЭЛЕГИЯ X

Из I книги

Вольный перевод

Кто первый изострил железный меч и
стрелы?
Жестокий! он изгнал в неизвестные пределы
Мир сладостный, и в ад открыл обширный
путь!

Но он виновен ли, что мы на ближних грудь
За золото, за прах, железо устремляем,
А не чудовищей им диких поражаем? —
Когда на пиршествах стоял сосуд святой
Из буковой коры меж утвари простой,
И стол был отягчен избытком сельских
брашен,

Тогда не знали мы щитов и твердых башен,
И пастырь близ овец спокойно засыпал;
Тогда бы дни мои я радостями считал!
Тогда б не чувствовал невольню трепетанье
При гласе бранных труб! О тщетное
мечтанье!

Я с Марсом на войне: быть может, лук тугой
Натянут на меня пернатою стрелой...
О, боги! сей удар вы мимо пронесите,
Вы, Лары отчески, от гибели спасите!

О, вы, хранившие меня в тени своей,
В беспечности златой от колыбельных дней;
Не постыдитесь, что лик богов священный,
Иссеченный из пня и пылью покровенный,
В жилище праотцев уединен стоит!
Не знали смертные ни злобы, ни обид,
Ни клятв нарушенных, ни почестей, ни

злата,

Когда священный лик домашнего Пената,
Еще скудельный был на пепелище их!
Он благодатен нам, когда из чаш простых
Мы учиним пред ним обильны возлиянья,
Иль на чело его, в знак мирного венчанья,
Возложим мы венки из миртов и лилей;
Он благодатен нам, сей мирный бог полей.
Когда на празднествах, в дни майские веселы,
С толпою чад своих, оратай престарелый
Опресноки ему священные принесет,
А девы красные из улья чистый мед.
Спасите ж вы меня, отеческие боги,
От копий, от мечей! Вам дар несу убогий:
Кошницу полную Церериных даров,
А в жертву — сей овец, краса моих лугов.
Я сам, увенчанный и в ризы облеченный,
Явлюсь наутрие пред наш алтарь священный.
Пускай, скажу, в полях неустовый герой,
Обрызган кровию, выигрывает бой;
А мне — пусть благодати сей буду я

достоин: —

О подвигах своих расскажет древний воин,
Товарищ юности; и сидя за столом,

Мне лагерь начертит веселых чаш вином.
Почто же вызывать нам смерть из царства
тени,

Когда в подземный дом везде равны
ступени?

Она, как тать в ночи, невидимой стопой,
Но быстро гонится, и всюду за тобой!
И низведет тебя в те мрачные вертепы,
Где лает адский пес, где Фурии свирепы,
И кормчий в челноке на Стиксовых водах,
Там теней бледный полк толпится на
берегах,

Власы обожжены, и впалы их ланиты!..
Хвала, хвала тебе, орадай домовитый!
Твой вечерет век среди счастливой семьи;
Ты сам, в тени дубрав, пасешь стада свои;
Супруга между тем трапезу учреждает,
Для омовенья ног сосуды нагревает
С кристальной водой. О, боги! если б я
Узрел еще мой родительски поля!
У светлого огня, с подругою младою,
Я б юность вспомянул за чашей круговую,
И были, и дела давно протекших дней!

Сын неба! светлый Мир! ты сам среди
полей

Вола дебелого ярмом отягощаешь!
Ты благодать свою на нивы проливаешь,
И в отческий сосуд, наследие сынов,
Лишь багряный сок из Вакховых даров.
В дни мира острый плуг и заступ нам
священны;

А меч, кровавый меч и шлемы оперенны,
Снедает ржавчина безмолвно на стенах.
Оратай из лесу там едет на волах
С женою и детьми, вином развеселенный!
Дни мира, вы любви игривой драгоценны!
Под знаменем ее воюем с красотой.
Ты плачешь, Ливия? Но победитель твой,
Смотри! — у ног твоих, колена преклоняет.
Любовь коварная украдкой подступает,
И вот уж среди вас, размолвивших, сидит!
Пусть молния богов бесщадно поразит
Того, кто красоту обидел на сраженьи!
Но счастлив, если мог в минутном
исступлении
Венок на волосах каштановых измять
И пояс невзначай у девы развязать!
Счастлив, трикрат счастлив, когда твои
угрозы
Исторгли из очей любви бесценны слезы!
А ты, взлелеянный меж копий и мечей,
Беги, кровавый Марс, от наших алтарей!

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС

Вы, други, вы опять со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах!

Други! сядьте и внемлите
Музы ласковой совет.
Вы счастливо жить хотите
На заре весенних лет?
Отгоните призрак славы!
Для веселья и забавы
Сейте розы на пути;
Скажем юности: лети!
Жизнью дай лишь насладиться;
Полной чашей радость пить:
Ах! не долго веселиться
И не веки в счастье жить!

Но вы, о други, вы со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

Станем, други, наслаждаться,
Станем розами венчаться;

Лиза! сладко пить с тобой,
С нимфой резвой и живой!
Ах! обнимемся руками,
Съединим уста с устами,
Души в пламени сольем;
То воскреснем, то умрем!..

Вы ль, други милые, со мною
Под тенью тополей густою,
С златыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах?

Я, любовью упоенный,
Вас забыл, мои друзья!
Как сквозь облак вижу темный
Чаши золотой края!..
Лиза розою пылает;
Грудь любовью полна;
Улыбаясь, наливает
Чашу светлого вина.
Мы потопим горечь нашу,
Други! в эту полную чашу;
Выпьем разом и до дна
Море светлого вина!

Друзья! уж месяц над рекою;
Почили рожи сладким сном;
Но нам ли здесь искать покою
С любовью, с дружбой и вином?
О радость! радость! Вакх веселый
Толпу утех сзывает к нам;
А тут в одежде легкой, белой,

Эрато гимн поет друзьям:
«Часы крылаты! не летите,
И счастье мигом хоть продлите!»
Увы! бегут счастливы дни,
Бегут, летят стрелой они!
Ни лень, ни счастья наслажденья,
Не могут их сдержать стремленья.
И время сильною рукой
Погубит радость и покой.
Луга веселые, зелены,
Ручьи кристальные и сад,
Где мшисты дубы, древни клены
Сплетают вечну тень прохлад;
Ужель вас зреть не буду боле?
Ужели там, на ратном поле,
Судил мне рок сном вечным спать?
Свирель и чаша золотая
Там будут в прахе истлевать;
Покроет их трава густая,
Покроет, и ничьей слезой
Забвенный прах не окропится...
Заране должно ли крушиться?
Умру, и все умрет со мной!..
Но вы еще, друзья, со мною
Под тенью тополей густую,
С ялатыми чашами в руках,
С любовью, с дружбой на устах.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

О, ты, которая была
Утех и радостей душою!
Как роза, некогда цвела
Небесной красотой;
Теперь оставлена, печальна и одна,
Сидя смиренно у окна,
Без песней, без похвал встречаешь день
рождения;
Прими от дружества сердечны сожаленья,
Прими и сердце успокой.
Что потеряла ты? Лыстецов бездушных рой,
Пугалищей ума, достоинства и нравов:
Судей безжалостных, докучливых нахалов.
Один был нежный друг... и он еще
с тобой!

ПРОБУЖДЕНИЕ

Зефир последний свеял сон
С ресниц, окованных мечтами:
Но я — не к счастью пробужден
Зефира тихими крилами.
Ни сладость розовых лучей
Предтечи утреннего Феба,
Ни кроткий блеск лазури неба,
Ни запах, веющий с полей,
Ни быстрый лет коня ретива
По скату бархатных лугов,
И гончих лай, и звон рогов
Вокруг пустынного залива:
Ничто души не веселит,
Души, встревоженной мечтами,
И гордый ум не победит
Любви холодными словами.

РАЗЛУКА

Напрасно покидал страну моих отцов
Друзей души, блестящие искусства;
И в шуме грозных битв, под тению шатров,
Старался усыпить встревоженные чувства,
Ах! небо чуждое не лечит сердца ран!

Напрасно я скитался
Из края в край, и грозный океан
Кругом меня роптал и волновался;
Напрасно от берегов пленительных Невы
Отторженный судьбою,

Я снова посещал развалины Москвы,
Москвы, где я дышал свободой прямою!
Напрасно я спешил от северных степей,
Холодным солнцем освещенных,

В страну, где Тирас бьет излучистой струей,
Сверкая между гор, Церерой позлащенных,
И древние поит народов племена.

Напрасно: всюду мысль преследует одна
О милой, сердцу незабвенной,
Которой имя мне священно,

Которой взор один лазоревых очей
Все — неба на земле блаженства отверзает,
И слово, звук один, прелестный звук речей
Меня мертвит и оживляет.

ТАВРИДА

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают,
И Фебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.

Мы там, отверженные роком,
Равны несчастьем, любовью равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком;
Забудем имена Фортуны и честей.
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под
землей,

Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором деревьев, пустынных птиц и вод:
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород.
Последние дары Фортуны благосклонной,
Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат

Пальмиры Севера огромной!
Весна ли красная блистает средь полей,
Иль лето знойное палит иссохши влаки,
Иль, урну хладную вращая, водолей

Валит шумящий дождь, седой туман и
мраки:
О радости! ты со мной встречаешь солнца
свет,
И ложе счастья с денницей покидая,
Румяна и свежа, как роза полевая,
Со мною делишь труд, заботы и обед.
Со мной в час вечера, под кровом тихой
ночи
Со мной, всегда со мной; твои прелестные
очи
Я вижу, голос твой я слышу, и рука
В твоей поконтя всечасно.
Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно
Румяных уст, и если хоть слегка
Летающий Зефир волосы твои развеет
И взору обнажит снегам подобну грудь,
Твой друг — не смеет и вздохнуть!
Потупя взор стоит, дивится и немеет.

СУДЬБА ОДИССЕЯ

Средь ужасов земли и ужасов морей
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки
Богобоязненный страдалец Одиссей;
Стопой бестрепетной сходил Анда в мраки;
Харибды яростной, подводной Сциллы стон
Не потрясли души высокой.

Казалось, победил терпеньем рок жестокой
И чашу горести до капли выпил он;
Казалось, небеса карать его устали

И тихо сонного домчали
До милых родины давно желанных скал.
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

В полях блистает май веселый!
Ручей свободно зажурчал,
И яркий голос Филомелы
Угрюмый бор очаровал:
Все новой жизни пьет дыханье!
Певец любви, лишь ты уныл!
Ты смерти верной предвещанье
В печальном сердце заключил;
Ты бродишь слабыми стопами
В последний раз среди полей,
Прощаясь с ними и с лесами
Пустынной родины твоей.
«Простите, рощи и долины,
Родные реки и поля!
Весна пришла, и час кончины
Неотразимый вижу я!
Так! Эпидавра прорицанье
Вещало мне: в последний раз
Услышишь горлиц воркованье
И Гальционы тихий глас:
Завеленеют гибки лозы,
Поля оденутся в цветы,
Там первые увидишь розы
И с ними вдруг увянешь ты.

Уж близок час... Цветочки милы,
К чему так рано увядать?
Закройте памятник унылый,
Где прах мой будет истлевать;
Закройте путь к нему собою
От взоров дружбы навсегда.
Но если Делия с тоскою
К нему приблизится, тогда
Исполните благоуханьем
Вокруг пустынный небосклон
И томным листьев трепетаньем
Мой сладко очаруйте сон!»
В полях цветы не увядали,
И Гальционы в тихой час
Стенанья рощи повторяли;
А бедный юноша... погас!
И дружба слез не уронила
На прах любимца своего;
И Делия не посетила
Пустынный памятник его:
Лишь пастырь, в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
Молчанье мертвое гробницы.

К Г***чу

Только дружба обещает
Мне бессмертия венок;
Он приметно увядает,
Как от зноя василек.
Мне оставить ли для славы
Скромную стезю забавы? —
Путь к забавам проложен;
К славе тесен и мудрен!
Мне ль ва призраком гоняться,
Лавры с скукой собирать?
Я умею наслаждаться,
Как ребенок всем играть;
И счастлив!.. Досель цветами
Путь ко счастью устилал;
Пел, мечтал, подчас стихами
Горесть сердца услаждал.
Пел от лени и досуга;
Муза — мне была подруга;
Не был ей порабощен.
А теперь, весна, как сон
Легкокрылый, исчезает,
И с собою увлекает
Прелесть песней и мечты!
Нежны мирты и цветы,

Чем прелестницы венчали
Юного певца, — завяли!
Ах! ужели наградит
Слава счастья утрату,
И ко дней моих вакату
Как нарочно прилетит?

Б Д***ВУ

Мой друг! я видел море зла
И неба мстительного кары;
Врагов неистовых дела,
Войну и гибельны пожары.
Я видел сонмы богачей,
Бегущих в рубищах издранных,
Я видел бледных матерей,
Из милой родины изгнанных!
Я на распутьи видел их,
Как, к персям чад прижав грудных,
Они в отчаяньи рыдали,
И с новым трепетом взирали
На небо рдяное кругом.
Трикраты с ужасом потом
Бродил в Москве опустошенной,
Среди развалин и могил;
Трикраты прах ее священный
Слезами скорби омочил.
И там, где зданья величавы
И башни древние царей,
Свидетели протекшей славы
И новой славы наших дней;
И там, где с миром почивали
Останки иноков святых,

И мимо веки протекали,
Святыни не касаясь их;
И там, где роскоши рукою,
Дней мира и трудов плоды,
Пред златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады; —
Лишь угли, прах и камней горы,
Лишь груды тел кругом реки,
Лишь нищих бледные полки
Везде мои встречали взоры!..
А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой
И шумную за чашей младость:
Среди военных непогод,
При страшном зареве столицы,
На голос мирных цевницъ
Сызвать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!..
Нет, нет! талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны край златой!
Нет, нет! пока на поле чести
За древний град моих отцов
Не понесу я в жертву мести
И жизнь, и к родине любовь;
Пока с израненным героем,
Кому известен к славе путь,

Три раза не поставлю грудь
Перед врагом сомкнутым строем —
Мой друг, дотоле будут мне
Все чужды Музы и Хариты,
Венки, рукой любви свиты,
И радость шумная в вине!

ИСТОЧНИК

Буря умолкла, и в ясной лазури
Солнце явилось на западе нам:
Мутный источник, след яростной бури,
С ревом и шумом бежит по полям!
Зафна! Приблизься: для девы невинной
Пальмы под тенью здесь роза цветет;
Падая с камня, источник пустынный
С ревом и с пеной сквозь дебри течет!

Дебри ты, Зафна, собой озарила!
Сладко с тобою в пустынных краях!
Песни любви ты мне повторила;
Ветер унес их на тихих крылах!
Голос твой, Зафна, как утра дыханье,
Сладостно шепчет, несясь по цветам:
Тише, источник! прерви волнованье,
С ревом и с пеной стремясь по полям!

Голос твой, Зафна, в душе отозвался;
Вижу улыбку и радость в очах!..
Дева любви! — я к тебе прикасался,
С медом пил розы на влажных устах!
Зафна краснеет?.. О, друг мой невинный,
Тихо прижмися устами к устам!..

Будь же ты скромн, источник пустынный,
С ревом и с шумом стремясь по полям!

Чувствую персей твоих волнованье,
Сердца биенье и слезы в очах;
Сладостно девы стыдливой роптанье!
Зафна, о, Зафна!.. смотри... там в водах
Быстро несется цветок розмаринный;
Воды умчались — цветочка уж нет!
Время быстрее, чем ток сей пустынный,
С ревом который сквозь дебри течет!

Время погубит и прелесть и младость!..
Ты улыбнулась, о, дева любви!
Чувствуешь в сердце томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень в крови!..
Зафна, о, Зафна! — там голубь невинный
С страстной подругой завидуют нам...
Вздохи любви — источник пустынный
С ревом и с шумом умчит по полям!

НА СМЕРТЬ СУПРУГИ Ф. Ф. К—НА

Nell' età sua più beila, e più fiorita...
... E viva, e bella al ciel salita.

Petrarca

Нет подруги нежной, нет прелестной Лилы!
Все осиротело!
Плачь, любовь и дружба, плачь, Гимен
унылый!
Счастье улетело!

Дружба! ты всечасно радости цветами
Жизнь ее дарила;
Ты свою богиню, с воплем и слезами
В землю положила.

Ты печальны тисы, кипарисны лозы
Насади вокруг урны!
Пусть приносит юность в дар чистейший
слезы
И цветы лазурны!

Все вокруг уныло! Чуть Зефир весенний
Памятник лобзает;

Здесь, в жилище плача, тихий смерти гений
Розу обрывает.

Здесь Гимен прикован, бледный и
безгласный,

Вечною тоскою,

Гасит у гробницы свой светильник ясный
Трепетной рукою!

ПЛЕННЫЙ

В местах, где Рона протекает
По бархатным лугам;
Где мирт душистый расцветает,
Склонясь к ее водам;
Где на горах роскошно зреет
Янтарный виноград,
Златой лимон на солнце рдеет,
И яворы шумят:

В часы вечерняя прохлады
Любуясь рекой,
Стоял, склоня на Рону взгляды
С глубокою тоской,
Добыча брани, русский пленный,
Придонских честь сынов,
С полей победы похищенный
Один толпой врагов.

«Шуми, — он пел, — волнами, Рона,
И жатвы орошай,
Но плеском волн родного Дона
Мне шум напоминай!
Я в правдности теряю время,
Душою в людстве сир;

И под окном, в часы вечерни,
 Глядит на небеса;
О друге тайно помышляет...
 Иль робкою рукой
Коня ретивого ласкает,
 Тебя, соратник мой!

Шуми, шуми волнами, Рона,
 И жатвы орошай;
Но плеском волн родного Дона
 Мне шум напоминай!
О, ветры, с полночи летите
 От родины моей;
Вы, звезды севера, горите
 Изгнаннику светлей!» —

Так пел наш пленник одинокой
 В виду Лионских стен,
Где юноше судьбой жестокой
 Назначен долгий плен.
Он пел — у ног сверкала Рона,
 В ней месяц трепетал,
И на золотых верхах Лиона
 Луч солнца доторал.

ГЕЗНОД И ОМИР СОПЕРНИКИ

Посвящено А. Н. О. Любителю древности

Народы, как волны в Халкиду, текли.
Народы счастливой Эллады!
Там сильный владыка над прахом отца
Оконча печальны обряды,
Ристалище славы бойцам отверзал.
Три раза с румяной денницей
Бойцы выступали с бойцами на бой;
Три раза стремили возницы
Коней легконогих по звонким полям;
И трижды владетель Халкиды
Достойным оливны венки раздавал.
Но солнце на лоно Фетиды
Склонялось, и новый готовился бой. —
Очистите поле, возницы!
Спешите! Залейте студеной струей
Пылающи оси и спицы;
Коней отрешите от тягостных уз
И в стойлы прохладны ведите;
Вы пылью и потом покрыты, бойцы,
При пламени светлом вздохните,
Внемлите народы, Эллады сыны,
Высокие песни внемлите!

Пройдя из края в край гостеприимный мир,
Летами древними и роком удрученный,
Здесь песней царь, Омир,
И юный Гезиод, Каменам драгоценный,
Вступают в славный бой.
Колебя маслину священной рукой,
Певец Аскреи гимн высокий начинает
(Он с лирой никогда свой глас не сочетает).

Гезиод

Безвестный юноша, с стадами я бродил
Под тенью пальмовой близ чистой Ипокрены;
Там пастыря нашли прелестные Камены,
И я в обитель их священную вступил.

Омир

Мне снилось в юности: орел громометатель
От Мелеса меня играючи унес
На край земли, на край небес,
Вещая: ты земли и неба обладатель.

Гезиод

Там лавры хижину простую осенят,
В пустынях процветут Темпейские долины,
Куда вы бросите свой благотворный взгляд,
О, нежны дочери суровой Мнемозины!

Омир

Хвала отцу богов! Как ясный свод небес
Над царством висится плачевного Эреба,

Как радостный Олимп стоит превыше неба;
Так выше всех богов, властитель их,
Зевес!..

Гезиод

В священном сумраке, в сиянии Дианы,
Вы, Музы, любите сплетаться в хоровод
Или, торжественный в Олимп свершая ход,
С бессмертными вкушать напиток Гебы
рьяный...

Омир

Не знает смерти он: кровь алая тельцов
Не брызнет под ножом над Зевсовой
гробницей;
И кони бурные со звонкой колесницей
Пред ней не будут прах крутить до облаков.

Гезиод

А мы все смертные, все Паркам обреченны,
Увидим области подземного царя
И реки спящие, Тенаром заключенны,
Не льющи дань свою в бездонные моря.

Омир

Я приближаюсь к мете сей неизбежной.
Внемаи, о, юноша! ты пел Труды и Дни...
Для старца ветхого уж, кончились они!

Гезиод

Сын дивный Мелеса! И лебедь белоснежный
На синем Стримоне, провидя страшный час,

Не слаще твоего поет в последний раз!
Твой гений пронизал в Олимп: и вечны боги
Отверзли для тебя заоблачны чертоги.
И что ж? В юдоли сей страдалец искони,
Ты роком обречен в печалях кончить дни.
Певец божественный, скитаясь как нищий,
В печальном рубище, без крова и без пищи,
Слепец всевидящий! ты будешь проклинать
И день, когда на свет тебя родила мать!

О м и р

Твой глас подобится амврозии небесной,
Что Геба юная сапфирной чашей льет.
Певец! в устах твоих Поэзии прелестной
Сладчайший Ольмия благоухает мед.
Но... Муз любимый жрец!.. страшишь
руки злодейской,
Страшишь любви, страшишь Эвбеи берегов:
Твой близок час: увы! тебя Зевес Немейской,
Как жертву славную готовит для врагов.

Умолкли. Облако печали

Покрыло очи их... Народ рукоплескал.
Но снова сладкий бой поэты начинали
При шуме радостных похвал.
Омир, возвыся глас, воспел народов брани,
Народов, гибнущих по прихоти царей;
Приама древнего, с мольбой несуща дани
Убийце грозному и кровных и детей;
Мольбу смиренную и быструю Обиду,
Харит и легких Ор, и страшную Эгиду,
Нептуна области, Олимп и дикий Ад.

А юный Гезиод, взлелеянный Парнасом,
С чудесной прелестью воспел веселым гласом
Весну, роскошную сопутницу Гиад;
Как Феб торжественно вселенну обтекает,
Как дни и месяцы рождаются в небесах;
Как нивой золотой Церера награждает
Труды годовичные оратая в полях.
Заботы сладкие при сборе винограда;
Тебя, желанный Мир, лелеятель долин,
Благословенных сел и пастырей, и стада
Он пел. И слабый царь, Халкиды властелин,
От самой юности воспитанный среди мира,
Презрел высокий гимн бессмертного Омира
И пальму первенства сопернику вручил.
Счастливый Гезиод в награду получил
За песни, мирною Каменной вдохновенны,
Сосуды сребряны, треножник позлащенный .
И черного овна, красу веселых стад.
За ним, пред ним сыны Ахейские, как
волны,
На край ристалища обширного спешат,
Где победитель сам, благоговенья полный,
При возлияниях, овна младую кровь
Довременно богам подземным посвящает,
И Музам светлые сосуды предлагает,
Как дар, усердный дар певца за их любовь.
Да самой старости преследуемый роком,
Но духом царь, не раб разгневанной судьбы,
Омир скрывается от суетной толпы,
Снедая грусть свою в молчании глубоком.
Рожденный в Самосе убогий сирота

К ДРУГУ

Скажи, мудрец молодой, что прочто на земли?
Где постоянно жизни счастье?

Мы область призраков обманчивых прошли,
Мы пили чашу сладострастья.

Но где минутный шум веселья и пиров?
В вине потопленные чаши?

Где мудрость светлая сияющих умов?

Где твой Фалерн и розы наши?

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре
бед исчез,

И место поросло крапивой.

Но я узнал его; я сердца дань принес
На прах его красноречивый.

На нем, когда окрест замолкнет шум
градской

И яркий Веспер засияет

На темном севере, твой друг в тиши ночной
В душе задумчивость питает.

От самой юности служитель алтарей
Богини неги и прохлады,

От пресыщения, от пламенных страстей,
Я сердцу в ней ищу отрады.

Поверишь ли? я здесь, на пепле храмни сих,
Венок веселия слагаю
И часто в горести, в волненьи чувств моих
Потупя взоры, восклицаю:

Минутны странники, мы ходим по гробам,
Все дни утратами считаем;
На крыльях радости летим к своим
друзьям, —
И что ж?.. их урны обнимаем.

Скажи, давно ли здесь, в кругу твоих друзей,
Сияла Лила красотой?
Благие небеса, казалось, дали ей
Все счастье смертной под луною:

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи, и ланиты,
Чело открытое одной из важных Муз
И прелесть — девственной Хариты.

Ты сам, забыв и свет и тщетный шум пиров,
Ее беседой наслаждался
И в тихой радости, как путник средь песков,
Прелестным цветом любовался.
Цветок (увы!) исчез, как сладкая мечта!
Она в страданиях почилa

И, с миром в страшный час прощаясь
навсегда,
На друге взор остановила.

Но дружба, может быть, ее забыла ты! ..
Веселье слезы осушило,
И тень чистейшую дыханье клеветы
На лоне мира возмутило.

Так все здесь суетно в обители сует!
Приязнь и дружество непрочно! —
Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?
Что вечно чисто, непорочно?

Напрасно вопрошал я опытность веков
И Клии мрачные скрижали,
Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:
Они безмолвны пребывали.

Как в воздухе перо кружится здесь и там,
Как в вихре тонкий прах летает,
Как судно без руля стремится по волнам
И вечно пристани не знает, —

Так ум мой посреди сомнений погибал.
Все жизни прелести затмились;
Мой гений в горести светильник погашал,
И музы светлые сокрылись.

Я с страхом спросил глас совести моей...
И мрак исчез, прозрели вежды:

И вера пролила спасительный елей
В лампаду чистую надежды.

Ко гробу путь мой весь, как солнцем, озарен:
Ногой надежно ступаю

И, с ризы странника свергая прах и тлен,
В мир лучший духом возлетаю.

МЕЧТА

Подруга нежных муз, посланница небес,
Источник сладких дум и сердцу милых слез,
Где ты скрываешься, мечта, моя богиня?
Где тот счастливый край, та мирная пустыня,
К которым ты стремишь таинственный полет?
Иль дебри любишь ты, сих грозных скал
хребет,
Где ветер порывистый и бури шум внимаешь?
Иль в Муромских лесах задумчиво
блуждаешь,

Когда на западе вари мерцает луч,
И хладная луна выходит из-за туч?
Или, влекомая чудесным обаяньем,
В места, где дышит всё любви очарованьем
Под тенью яворов ты бродишь по холмам,
Студеной пеною Воклюза орошенным?
Явись, богиня, мне, и с трепетом священным
Ко нуся я струнам,

Тобой одушевленным!
Явися! ждет тебя задумчивый прит,
В безмолвии ночном сидящий у лампы,
Явись и дай вкусить сердечные отрады!
Любимца твоего, любимца Аонид,
И горесть сладостна бывает:
Он в горести мечтает.

То вдруг он пренесен во Сельмские леса,
Где ветер шумит, ревет гроза,
Где тень Оскарова, одетая туманом,
По небу стелется над пенным океаном.
То, с чашей радости в руках,
Он с бардами поет: и месяц в облаках,
И Кромлы шумный лес безмолвно им
внимает,
И вхо по горам песнь звучну повторяет.

Или в полночный час
Он слышит скальдов глас
Прерывистый и томный.
Зрит: юноши безмолвны,
Склоняся на щиты, стоят кругом костров,
Зажженных в поле брани;
И древний царь певцов
Простер на арфу длани.
Могилу указав, где вождь героев спит,
«Чья тень, чья тень, — гласит
В священном исступленьи, —
Там с девами плывет в туманных облаках?»
Се ты, молодой Иснель, иноплеменных страх,
Днесь падший на сраженьи!
Мир, мир тебе, герой!
Твоей секирою стальной
Пришельцы гордые разбиты!
Но сам ты пал на грудах тел.
Пал витязь знаменитый
Под тучей вражьих стрел!..
Ты пал! И над тобой посланницы небесны,
Валкирии прелестны

На белых, как снега Биармии, конях.
 С золатыми копьями в руках
 В безмолвии спустились!
 Коснулись до зениц копьем своим, и вновь
 Глаза твои открылись!
 Течет по жилам кровь
 Чистейшего эфира;
 И ты, бесплотный дух,
 В страны безвестны мира
 Летишь стрелой... и вдруг —
 Открылись пред тобой те радужны чертоги,
 Где уготовали для сонма храбрых боги
 Любовь и вечный пир. —
 При шуме горных вод и тихострунных лир
 Среди полян и свежих сеней
 Ты будешь поражать там скачущих еленей
 И влаторогих серн.
 Склонясь на зланный дерн,
 С дружиною младою,
 Там снова с арфой золотою
 В восторге скальд поет
 О славе древних лет,
 Поет, и храбрых очи,
 Как звезды тихой ночи,
 Утехою блестят.
 Но вечер притекает,
 Час неги и прохлад,
 Глас скальда замолкает.
 Замолк — и храбрых сонм
 Идет в Оденов дом,
 Где дочери Веристы,
 Власы свои душисты

Раскинув по плечам,
Прелестницы молодые,
Всегда полунагие,
На пиршества гостям
Обильны яства носят
И пить умильно просят
Из чаши сладкий мед...» —
Так древний скальд поет,
Лесов и дебрей сын угрюмый:
Он счастлив, погружаясь о счастье в сладки
думы!

О сладкая мечта! О неба дар благой!
Средь дебрей каменных, средь ужасов
природы,
Где плещут о скалы Ботнические воды,
В краях изгнанников... я счастлив был
тобой.

Я счастлив был, когда в моем уединеньи
Над кущей рыбака, в час полночи немой
Раздастся ветров свист и вой,
И в кровлю застучит и град и дождь
осенний.

Тогда на крыльях мечты
Летал я в поднебесной,
Или, забывшись на лоне красоты,
Я сон вкушал прелестный
И, счастлив наяву, был счастлив и в
мечтах!

Волшебница моя! дары твои бесценны
И старцу в лета охлажденные,

С котомкой нищему и узнику в цепях.
Заклепы страшные с замками на дверях,
Соломы жесткий пук, свет бледный

пепелища,
Изглоданный сухарь, мышей тюремных пища,
Сосуды глиняны с водой, —
Все, все украшено тобой!..

Кто сердцем прав, того ты ввек не
покидаешь:

За ним во все страны летаешь

И счастьем даришь любимца своего.

Пусть миром позабыт! Что нужды для него?
Но с ним задумчивость, в день пасмурный,
осенний,

На мирном ложе сна,

В уединенной сени,

Беседует одна.

О тайных слез неизъяснима сладость!

Что пред тобой сердце холодных радость.

Веселий шум и блеск честей

Тому, кто ничего не ищет под луною,

Тому, кто сопряжен душою

С могилою давно утраченных друзей!

Кто в жизни не любил?

Кто раз не забывался,

Любя, мечтам не предавался

И счастья в них не находил?

Кто в час глубокой ночи,

Когда невольно сон смыкает томны очи,

Всю сладость не вкусил обманчивой мечты?

Теперь, любовник, ты

На ложе роскоши с подругой бояливой.

Ей шепчешь о любви и пламенной рукой
Снимаешь со груди ее покров стыдливый,
Теперь блаженствуешь и счастлив ты —
мечтой:

Ночь сладострастия тебе дает призраки
И нектаром любви кропит ленивы маки.

Мечтание — душа поэтов и стихов

И едкость сильная веков

Не может прелестей лишить Анакреона,
Любовь еще горит во пламенных мечтах

Любовницы Фаона,

А ты, лежащий на цветах

Меж нимф и сельских граций,

Певец веселья, Гораций!

Ты сладостно мечтал,

Мечтал среди пиров и шумных, и веселых
И смерть угрюмую цветами увенчал!

Как часто в Тибуре, в сих рощах устарелых

На скате бархатных лугов,

В счастливом Тибуре, в твоём уединеньи.

Ты ждал Глицерию, и в сладостном

забвеньи

Томимый, негою на ложе из цветов,

При воскурении мастик благоуханных,

При пляске нимф венчанных,

Сплетенных в хоровод,

При отдаленном шуме

В лугах журчащих вод,

Безмолвен, в сладкой думе

Мечтал... и вдруг, мечтой

Восторжен сладострастной.

У ног Глицерии стыдливой и прекрасной
Победу пел любви
Над юностью беспечной,
И первый жар в крови,
И первый вздох сердечный,
Счастливец! воспевал
Цитерские забавы
И все заботы славы
Ты ветрам отдавал!

Ужели в истинах печальных
Угрюмых стойков и скучных мудрецов,
Сидящих в платьях погребальных
Между обломков и гробов,
Найдем мы жизни нашей сладость?—

От них, я вижу, радость
Летит, как бабочка, от терновых кустов.
Для них нет прелести и в прелестях
природы.

Им девы не поют, сплетая в хоробыды:
Для них, как для слепцов,

Весна без радости и лето без цветов...

Увы! но с юностью исчезнут и мечтанья.

Исчезнут граций лобызанья,
Надежда изменит и рой крылатых снов.

Увы! там нет уже цветов,

Где тусклый опытность светильник зажигает,
И время старости могилу открывает.

Но ты — пребудь верна, живи еще со мной!

Ни свет, ни славы блеск пустой,

Ничто даров твоих для сердца не заменит!

Пусть дорого глупец сует блистанье ценит.
Лобзая прах златой у мраморных палат, —

Но я и счастлив и богат,

Когда снискал себе свободу и спокойство,
А от сует ушел забвения тропой!

Пусть будет навсегда со мной

Завидное поэтов свойство:

Блаженство находить в убожестве мечтой!

Их сердцу малость драгоценна.

Как пчелка медом отягченна

Летает с травки на цветок,

Считая морем ручеек,

Так хижину свою поэт дворцом считает

И счастлив — он мечтает!

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕЙЦ

Меж там, как войны вдоль идут по полям,
Завидя вдалеке твои, о Рейн, волны,

Мой конь, веселья полный,

От строя отделясь, стремится к берегам,

На крыльях жажды прилетает,

Глотает хладную струю,

И грудь усталую в бою

Желанной влагой обновляет...

О радости! я стою при Рейнских водах!

И, жадные с холмов в окрестность броса

взоры,

Приветствую поля и горы,

И замки рыцарей в туманных облаках,

И всю страну, обильну славой,

Воспоминаям древних дней,

Где с Альпов вечною струей

Ты льешься, Рейн величавый!

Свидетель древности, событий всех времен.

О Рейн, ты поил несчетны легионы,

Мечом писавшие законы

Для гордых Германа кочующих племен;

Любимец счастья, бич свободы
Здесь Кесарь бился, побеждал,
И конь его переплывал
Твои священные, Рейн, воды.

Века мелькнули: мир Крестом преобразен;
Любовь и честь в душах суровых
пробудились. —

Здесь витязи вооружились
Копьем за жизнь сирот, за честь прелестных
жен;

Тут совершались их турниры,
Тут бились храбрые — и здесь
Не умер, мнится, и поднесь
Звук сладкий трубадуров лиры.

Так, здесь под тению смоковниц и дубов,
При шуме сладостном нагорных водопадов,

В тени цветущих сел и градов
Восторг живет еще среди избранных сынов.

Здесь все питает вдохновенье:
Простые нравы праотцов,
Святая к родине любовь
И праздной роскоши презренье.

Все, все, и вид полей, и вид священных вод,
Туманной древности и бардам современных,

Для чувств и мыслей дерзновенных
И силу новую и крылья придает.

Свободны, горды, полудики,
Природы верные жрецы,

Тевтонски пели здесь певцы...

И смолкли их волшебны лики.

Ты сам, родитель вод, свидетель всех
времен,
Ты сам, до наших дней, спокойный,
величавый,

С падением народной славы,

Склонил чело, увы! познал и стыд и плен...

Давно ли брег твой под орлами

Аттилы нового стenal,

И ты, — уныло протекал

Между враждебными полками?

Давно ли земледел, вдоль красных берегов,
Средь виноградников заветных и священных,

Полки встречал иноплеменных

И ненавистный взор Заренских сынов?

Давно ль они, кичая, пили

Вино из синих хрусталей,

И кони их среди полей

И зрелых нив своих бродили?

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и
громами!...

Стеклись с морей, покрытых льдами,

От струй полуденных, от Каспия валов,

От волн Улеи и Байкала,

От Волги, Дона и Днепра,

От града нашего Петра,

С вершин Кавказа и Урала!...

Стеклись, нагрянули, за честь твоих
граждан,
За честь твердынь и сел и нив опустошенных,
И берегов благословенных,
Где расцвело в тиши блаженство россиян,
Где ангел мирный, светозарный
Для стран полуночи рожден
И провиденьем обречен
Царю, отчизне благодарной.

Мы здесь, о Рейн, здесь! ты видишь блеск
мечей!
Ты слышишь шум полков и новых коней
ржанье,

Ура победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богатырей.
Взвивая к небу прах летучий,
По трупам вражеским летят,
И вот — коней лихих поят,
Кругом заставя дол выбучий.

Какой чудесный пир для слуха и очей!
Здесь пушек светла медь сияет за конями,
И ружья длинными рядами,
И стяги древние средь копий и мечей.
Там шлемы воев оперенны,
Тяжелой конницы строй,
И легких всадников рой —
В текучей влаге отраженны!

Там слышен стук секир, и пал утрюмый лес!
Костры над Рейном дымятся и пылают!

И чаши радости сверкают!
И клики воинов восходят до небес!
Там ратник ратника объемлет;
Там точит пеший штык стальной;
И конный грозною рукой
Крылатый дротик свой колеблет.

Там всадник, опершись на светлу сталь
копья,
Задумчив и один, на берегу высоком
Стоит, и жадным ловит оком
Реки излучистой последние края.
Быть может, он воспоминает
Реку своих родимых мест —
И на груди свой медный крест
Невольно к сердцу прижимает...

Но там готовится, по манию вождей,
Бескровный жертвенник среди гибельных
трофеев.

И богу сильных Маккавеев
Коленопреклонен служитель алтарей:
Его шумя приосеняет
Знамен отчизны грозный лес;
И солнце юное с небес
Алтарь сияньем осыпает...

Все крики бранные умолкли, и в рядах
Благоговение внезапно воцарилось,
Оружье долу преклонилось,
И вождь и ратники чело склонили в прах:
Поют владыке вышней силы,

Тебе, подателю побед,
Тебе, незаходимый свет!
Дымятся мирные кадилы.

И се подвигнулись — валит за строем строй,
Как море шумное, волнуется все войско,

И эхо вторит клик геройский,
Досель неслышанный, о Рейн, над тобой!

Твой стонет брег гостеприимный,
И мост под воями дрожит!

И враг, завидя их, бежит —

От глаз, в дали теряясь дымной! ..

БЕСЕДКА МУЗ

Под тению черемухи млечной
И золотом блистающих акаций
Спешу восстановить алтарь и Муз и Граций,
Сопутниц жизни молодой.

Спешу принести цветы и ульев сот янтарный
И нежны первенцы полей:
Да будет сладок им сей дар любви моей
И гимн поэта благодарный!

Не злата молит он у жертвенника Муз:
Они с Фортуною не дружны,
Их крепче с бедностью заботливый союз,
И боле в шалаше, чем в тереме, досужны.

Не молит славы он сияющих даров:
Увы! талант его ничтожен.
Ему отважный путь за стаею орлов,
Как пчелке, невозможен.

Он молит Муз — душе, усталой от сует,
Отдать любовь утраченну к искусствам,
Веселость ясную первоначальных лет
И свежесть — вянущим бесперестанно
чувствам.

Пускай забот свинцовый груз
В реке забвения потонет,
И время жадное в сей тайной сени Муз
Любимца их не тронет.

Пускай и в седилах, но с бодрою душой,
Беспечен, как дитя всегда беспечных граций,
Он некогда придет вздохнуть в сени густой
Своих черемух и акаций.

ПОСЛАНИЯ

МОИ ПЕНАТЫ

Послание к Ж. и В.

Отечески Пенаты,
Э, пестуны мои!
Вы златом не богаты,
Но любите свои
Норы и темны кельи,
Где вас на новосельи
Смиренно здесь и там
Расставил по углам;
Где странник я бездомный,
Всегда в желаньях скромный,
Сыскал себе приют.
О, боги! будьте тут
Доступны, благосклонны!
Не вина благовонны,
Не тучный фимиам
Поэт приносит вам;
Но слезы умиленья,
Но сердца тихий жар
И сладки песнопенья,
Богинь Пермесских дар!
О, Лары! уживитесь
В обители моей,
Поэту улыбнитесь —

И будет счастлив в ней!..
В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхий и треногой
С изорванным сукном
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полузаржавый
Меч прадедов тупой;
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые,
Все рухлая скудель!
Скудель!.. но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Отеческие боги!
Да к хижине моей
Не сыщет ввек дороги
Богатство с суетой,
С наемною душой
Развратные счастливы,
Придворные друзья
И бледны горделивы.
Надутые князья!
Но ты, о, мой убогой
Калека и слепой,
Идя путем-дорогой
С смиренною клюкой,
Ты смело постучися,
О, воин, у меня,

Войди и обсушися
У яркого огня.
О, старец убеленный
Годами и трудом,
Трикраты уязвленный
На приступе штыком!
Двуручной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя с нагайкой,
Что в жупел и в огни
Летал перед полками,
Как вихорь на полях,
И вокруг его рядами
Враги ложились в прах!..
И ты, моя Лилета,
В смиренный уголок
Приди под вечерок
Тайком переодета!
Под шляпою мужской
И кудри золотые
И очи голубые,
Прелестница, сокрой!
Накинь мой плащ широкой,
Мечом вооружись
И в полночи глубокой
Внезапно постучись...
Вошла — наряд военный
Упал к ее ногам,
И кудри распущенны
Взвывают по плечам,
И грудь ее открылась
С лилейной белизной:

Волшебница явилась
Пастушкой предо мной!
И вот с улыбкой нежной
Садится у огня,
Рукою белоснежной
Склонившись на меня,
И алыми устами,
Как ветер меж листьями,
Мне шепчет: «Я твоя.
Твоя, мой друг сердечный! ..
Блажен в сени беспечной,
Кто милою своей,
Под кровом от ненастья,
На ложе сладострастья,
До утренних лучей
Спокойно обладает,
Спокойно засыпает
Близ друга сладким сном! ..

Уже потухли звезды
В сиянии дневном,
И пташки теплы гнезды,
Что свиты над окном,
Щебеча покидают
И негу отрясают
Со крылышек своих;
Зефир листья колышет,
И все любовью дышит
Среди полей моих;
Всё с утром оживает,
А Лила почивает
На ложе из цветов...

И ветер тиховейный
С груди ее лилейной
Сдул дымчатый покров...
И в локоны златые
Две розы молодые
С нарциссами вплелись;
Сквозь тонкие преграды
Нога, ища пролады,
Скользит по ложу вниз...
Я Лилы пью дыханье
На пламенных устах,
Как роз благоуханье,
Как нектар на пирах!..
Покойся, друг прелестный,
В объятиях моих!
Пускай в стране безвестной,
В тени лесов густых,
Богинею слепою
Забут я от пелен,
Но дружбой и тобою
С избытком награжден!
Мой век спокоен, ясен:
В убожестве с тобой
Мне мил шалаш простой;
Без злата мил и красен
Лишь прелестью твоей!

Без злата и честей
Доступен добрый Гений
Поэзии святой,
И часто в мирной сени
Беседует со мной.

Небесно вдохновенье,
Порыв крылатых дум!
(Когда страстей волненье
Уснет... и светлый ум,
Летая в поднебесной,
Земных свободен уз,
В Аонии прелестной
Сретает хоры муз!)
Небесно вдохновенье,
Зачем летишь стрелой
И сердца упоенье
Уносишь за собой? —
До розовой денницы
В отрадной тишине,
Парнасские царицы,
Подруги будьте мне!
Пускай веселы тени
Любимых мне певцов,
Оставля тайны сени
Стигийских берегов,
Иль области эфирны,
Воздушною толпой
Слетят на голос лирный
Беседовать со мной!..
И мертвые с живыми
Вступили в хор один!..
Что вижу? ты пред ними,
Парнасский исполни,
Певец героев, славы,
Вслед вихрям и громам,
Наш лебедь вечичавый,
Плывешь по небесам.

В толпе и Муз и Граций,
То с лирой, то с трубой,
Наш Пиндар, наш Гораций
Сливает голос свой.
Он громок, быстр и силен.
Как Суна средь степей,
И нежен, тих, умилен,
Как вешний соловей.
Фантазии небесной
Давно любимый сын,
То повестью прелестной
Пленяет Карамзин,
То мудрого Платона
Описывает нам
И ужин Агатона,
И наслажденья храм;
То древню Русь и нравы
Владимира времен,
И в колыбели славы
Рождение славян.
За ними Сильф прекрасный,
Воспитанник Харит,
На цитре сладкогласной
О Душеньке бренчит;
Мелецкого с собою
Улыбкою зовет
И с ним, рука с рукою,
Гимн радости поет!..
С Эротами играя,
Философ и пьет,
Близ Федра и Пильпая
Сам Дмитриев сидит;

Беседуя с зверями,
Как счастливый дитя,
Парнасскими цветами
Скрыл истину шутя.
За ним в часы свободы
Поют среди певцов
Два баловня природы,
Хемницер и Крылов.
Наставники-питы,
О, Фебовы жрецы!
Вам, вам плетут Хариты
Бессмертные венцы!
Я вами здесь вкушаю
Восторги Пьерид,
И в радости зываю:
О, Музы! я пит!

А вы, смиренной хаты
О, Лары и Пенаты!
От зависти людской
Мое сокройте счастье,
Сердечно сладострастье,
И негу, и покой!
Фортуна, прочь с дарами
Блистательных сует!
Спокойными очами
Смотрю на твой полет:
Я в пристань от ненастья
Челнок мой проводил
И вас, любимцы счастья,
Навеки позабыл. . .
Но вы, любимцы славы,

Наперсники забавы,
Любви и важных муз,
Беспечные счастливцы,
Философы-ленивцы,
Враги придворных уз,
Друзья мои сердечны!
Придите в час беспечный
Мой домик навестить —
Поспорить и попить!
Сложи печалей бремя,
Жуковский добрый мой!
Стрелою мчится время,
Веселие стрелой!
Позволь же дружбе слезы
И горесть усладить
И счастья блеклы розы
Эротам оживить.
О, Вяземский! цветами
Друзей твоих венчай.
Дар Вакха перед нами:
Вот кубок — наливай!
Питомец муз надежный,
О, Аристиппов внук!
Ты любишь песни нежны
И рюмок звон и стук!
В час неги и прохлады
На ужинах твоих
Ты любишь томны взгляды
Прелестниц записных.
И все заботы славы,
Сует и шум, и блажь,
За быстрый миг забавы

С поклонами отдашь.
О! дай же ты мне руку,
Товарищ в лени мой,
И мы... потопим скуку
В сей чаше золотой!
Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг! скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвеем косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!
Когда же Парки тощи
Нить жизни допрядут
И нас в обитель нощи
Ко прадедам снесут, —
Товарищи любезны!
Не сетуйте о нас.
К чему рыданья слезны,
Наемных ликов глас?
К чему сии куренья
И колокола вой,
И томны псалмопенья
Над кладною доской?
К чему?... Но вы толпами
При месячных лучах
Сберитесь, и цветами

Усейте мирный прах;
Иль бросьте на гробницы
Богов домашних лик.
Две чаши, две цевницы
С листьями повилки;
И путник угадает
Без надписей златых,
Что прах тут почивает
Счастливых молодых!

ПОСЛАНИЕ К Г. В—МУ

О ты, владеющий гитарой Трубадура,
Эраты голосом и прелестью Амура,
Вспомни, милый граф, счастливые времена,
Когда нас юношей увидела Двина!
Когда, отвоевав под знаменем Беллоны,
Под знаменем Любви я начал воевать
И новый регламент и новые законы

В глазах прелестницы читать! —

Заря весны моей! тебя как не бывало!
Но сердце в той стране с любовью отдыхало,
Где я узнал тебя, мой нежный Трубадур!
Обетованный край! где ветреный Амур
Прелестным личиком любезный пол дарует,
Под дымкой на груди лилем образует
(Какими б и у нас гордилась красота!),
Вливает томный огонь и в очи, и в уста,
А в сердце юное любви прямое чувство.
Счастливые места, где нравиться искусство

Не нужно для мужей,

Сидящих с трубками вокруг угольных огней,
За сыром выписным, за Гамбургским

журналом;

Меж тем как жены их, смеясь под опахалом,

«Люблю, люблю тебя!» пришельцу говорят
И руку жмут ему коварными перстами!
О, мой любезный друг! отдай, отдай назад
Зарю прошедших дней и с прежними бедами,
С любовью и войной!

Или, волшебник мой,

Одушеви мое музыкой песнопенье;
Вдохни огонь любви в холодные слова,
Еще отдай стихам потеряны права

И камни приводить в движенье,

И горы, и леса!

Тогда я с Сильфами взлечу на небеса .
И тихо, как призрак, как луч от неба
ясный,

Спущусь на берега пологие Двины

С твоей гитарой сладкогласной:

Коснусь волшебных струны,

Коснусь... и Нимфы гор при месячном
сияньи,

Как тени легкие в прозрачном одеяньи,
С Сильванами сойдут услышать голос мой.
Наяды робкие, всплывая над водой,

Восплещут белыми руками,

И майский ветерок, проснувшись на цветах

В прохладных рощах и садах,

Повеет тихими крилами:

С очей прелестных дев он свет тонкий сон,

Отгонит легки сновиденья

И тихим шопотом им скажет: «Это он!

Вы слышите его знакомы песнопенья!»

ПОСЛАНИЕ К Т-ВУ

О ты, который средь обедов,
Среди веселий и забав
Сберег для дружбы кроткий нрав,
Для дел — характер честный дедов!
О ты, который при дворе,
В чаду успехов или счастья,
Найти умел в одном добре
Души прямое сладострастье!
О ты, который с похорон
На свадьбы часто поспеваешь,
Но, бедного услыша стон,
Ушей не затыкаешь!
Услышь, мой верный доброхот,
Певца смиренного моление,
Доставь крупицу от щедрот
Сироткам двум на прокормленье!
Замолви слова два за них
Красноречивыми устами:
Лишь дайте им! промолви — вмиг
Они очутятся с рублями.
Но кто они? Скажу точь-в-точь
Всю повесть их перед тобою.
Они — вдова и дочь,
Чета, забытая судьбою.

Жил некто в мире сем Попов,
Царя усердный воин.
Был беден. Умер. От долгов
Он следственно спокоен.
Но в мире он забыл жену
С грудным ребенком; и одну
Суму оставил им в наследство...
Но здесь не все для бедных бедство!
Им добры люди помогли,
Согрели, накормили
И, словом, как могли,
Сироток приютили.
Прекрасно! славно! — спору нет!
Но... здешний свет
Не рай — мне сказывал мой дед.
Враги нахлынули рекою,
С землей сравнялася Москва...
И бедная вдова
Опять пошла с клюкдою...
А между тем все дочь растет,
И нужды с нею подрастают.
День за день всё идет, идет.
Недели, месяцы мелькают;
Старушка клонится, а дочь
Пышнее розы расцветает,
И стала... Грация точь-в-точь!
Прелестный взор, глаза большие,
Румянец Флоры на щеках,
И кудри льняно-золотые
На алебастровых плечах.
Что слово молвит — то приятство,
Что ни наденет — всё к лицу!

Краса — увы! — ее богатство
И все приданое к венцу,
А крохи нет насущной хлеба!
Тургенев, друг наш! Ради неба —
Приди на помощь красоте,
Несчастью и нищете!
Они пред образом, конечно,
Затемят чистую свечу, —
За чье здоровье — умолчу:
Ты угадаешь, друг сердечный!

ОТВЕТ Г—ЧУ

Твой друг тебе навек отныне
С рукою сердце отдает;
Он отслужил слепой богине,
Бесплодных матери сует.
Увы, мой друг! я в дни младые
Цирцеям так же отслужил!
В карманы заглянул пустые,
Покинул мирт и меч сложил.
Пускай кто честолюбьем болен,
Бросает с Марсом огонь и гром;
Но я — безвестностью доволен
В Сабинском домике моем!
Там глиняны свои Пенаты
Под сенью дружней съединим,
Поставим брашны небогаты,
А дни мечтой позолотим.
И если к нам любовь заглянет
В приют, где дружбы храм святой...
Увы! твой друг не перестанет
Еще ей жертвовать собой! —
Как гость, весельем пресыщенный,
Роскошный покидает пир,
Так я, любовью упоенный,
Покину равнодушно мир!

*

К Ж—МУ

Прости, Балладник мой,
Белёва мирный житель!
Да будет Феб с тобой,
Наш давний покровитель!
Ты счастлив средь полей
И в хижине укропной.
Как юный соловей
В прохладе рощи темной
С любовью дни ведет,
Гнезда не покидая,
Невидимый поет,
Невидимо пленяя
Веселых пастухов
И жителей пустынных. —
Так ты, краса певцов,
Среди забав невинных,
В отчизне золотой
Прелестны гимны пой!
О, пой, любимец счастья,
Пока веселы дни
И розы сладострастья
Кипридою даны,
И роскошь золотая,
Все блага рассыпая

Обильною рукой,
Тебе подносит вины
И портер выписной,
И сочны апельсины,
И с трюфлями пирог,
Весь Амальтеи рог,
Вовек неистощимый,
На жирный твой обед!
А мне... покоя нет!
Смотри! неумолимый
Домашний Гиппократ,
Наперсник Парки бледной,
Попов слуга усердный,
Чуме и смерти брат,
Поклявшись латынью
И практикой своей,
Поит меня полынью
И супом из костей;
Без дальнего старанья
До смерти залопит
И к вам писать посланья
Отправит за Коцит!
Все в жизни изменило,
Что к сердцу сладко льстило;
Все, все прошло, как сон;
Здоровье легкокрыло,
Любовь и Аполлон!
Я стал подобен тени,
К смирению сердец,
Сух, бледен, как мертвец;
Дрожат мои колени,
Спина дугой к земле,

Глаза потухли, впади,
И скорби начертали
Морщины на челе;
Навек исчезла сила
И доблесть прежних лет.
Увы, мой друг, и Лила
Меня не узнает.
Вчера с улыбкой злою
Мне молвила она
(Как древле Громобою
Коварный Сатана):
«Усопший! мир с тобою!
Усопший, мир с тобою!» —
Ах! это ли одно
Мне роком суждено
За древни прегрешенья?..
Нет, новые мученья,
Достойные бесов!
Свои стихотворения
Читает мне Свистов;
И с ним певец досужий,
Его покорный бес,
Как он, на рифмы дюжий
Как он, головорез!
Поют и напевают,
С ночи до бела дня;
Читают и читают
И до смерти меня
Убийцы зачитают!

ОТВЕТ Т—ВУ

Ты прав! Поэт не лжец,
Красавиц воспевая.
Но часто наш певец,
В восторге утопая,
Рассудка строгий глас
Забудет для Армиды,
Для двух коварных глаз;
Под знаменем Киприды
Сей новый Дон-Кишот
Проводит век с мечтами:
С химерами живет,
Беседует с духами,
С задумчивой луной,
И мир смешит собой!
Для света равнодушен
Для славы и честей
Одной любви послушен,
Он дышит только ей.
Везде с своей мечтою,
В столице и в полях,
С поникшей головою,
С унынием в очах,
Как призрак бледный бродит;
Одно твердит, поет:

Любовь, любовь зовет...
И рифмы лишь находит!
Так! верно, Аполлон
Давно с любовью в ссоре,
И мститель Купидон
Судил поэтам горе.
Все нимфы строги к нам
За наши псалмопенья,
Как Дафна к богу пенья;
Мы лавр находим там
Иль кипарис печали,
Где счастья роз искали
Цветущих не для нас.
Взгляните на Парнас:
Любовник строгой Лоры
Там в горести погас;
Скалы и дики горы
Его лишь знали глас
На берегах Воклюзы;
Там Душеньки певец,
Любимец нежной Музы
И пламенных сердец,
Любил, вздыхал всечасно,
Везде искал мечты;
Но лирой сладкогласной
Не тронул красоты.
Лесбосская певица,
Прекрасная в женах,
Любви и Феба жрица,
Дни кончила в волнах.
И я — клянусь глазами,
Которые стихами

Мы взапуски поем;
Клянуся Хлоей в том,
Что русские поэты
Давно б на берег Леты
Толпами перешли,
Когда б скалу Левкада
В болота Петрограда
Судьбы перенесли!

К П—ПУ

О, любимец бога брани,
Мой товарищ на войне!
Я платил с тобою дани
Богу славы не одне:
Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал.
Помнишь ли, питомец славы,
Индесальми? страшну ночь? —
Не люблю такой забавы, —
Молвил я, — и с Музой прочь!
Между тем, как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.
Счастливы ты, шалун любезный,
И в Цитерской стороне:
Я же всюду бесполезный,
И в любви и на войне,
Время жизни в скуке трачу
(За крылатый счастья миг!)
Ночь веваю... утром плачу
Об утрате снов моих.

Тщетны слезы! мне готова
Цепь, сотканна из сует;
От родительского крова
Я опять на море бед.
Мой челнок любовь слепая
Правит детскою рукой;
Между тем как лень, зевая,
На корме сидит со мной.
Может быть, как быстра младость
Убежит от нас бегом,
Я возьмусь за ум... да радость
Уживется ли с умом? —
Ах, почто же мне заране,
Друг любезный, унывать? —
Вся судьба моя в стакане!
Станем пить и воспевать:
«Счастливи! счастливи, кто цветами
Дни любви украшал,
Пел с беспечными друзьями,
А о счастья... мечтал!
Счастливи он, и втрое боле
Всех вельможей и царей!
Так давай, в безвестной доле,
Чужды рабства и цепей
Кое-как тянуть жизнь нашу,
Часто с горем пополам;
Наливать полнее чашу
И смеяться дуракам!» ---

ПОСЛАНИЕ И. М. М. А.

Ты прав, любимец муз! от первых
впечатлений,
От первых, свежих чувств заимлет силу
гений
И им в теченьи дней своих не изменит!
Кто б ни был: пламенный оратор иль поит,
Светильник мудрости, науки обладатель,
Иль кистью естества немого подражатель,
Наперсник муз, — познал от колыбельных
дней,
Что должен быть жрецом парнасских
алтарей.
Младенец счастливый, уже любимец Феба,
Он с жадностью взирал на свет лазурный
неба,
На зелень, на цветы, на выбку сень деревьев,
На воды быстрые и полный мрака лес.
Он, к лону матери приникнув, улыбался,
Когда веселый май цветами убирался,
И жавронок видся над зеленью полей.
Златая ль радуга, пророчица дождей,

Весь свод лазоревый подернет
 облистаньем, —
 Ее приветствовал невнятным лепетаньем,
 Ее манил к себе младенческой рукой,
 Что видел в юности, пред хижиной родной,
 Что видел, чувствовал, как новый мира
 житель,
 Того в душе своей до поздних дней
 хранитель
 Желает в песнях муз потомству передать.
 Мы видим первых чувств волшебную печать
 В твореньях гения, испытанных веками:
 Из мест, где Мантуа красуется лугами,
 И Минций в камышах недвижимый стоит,
 От милых Лар своих отторженный пиит,
 В чертоги Августа судьбой перенесенный,
 Жалел о вас, ручьи отчизны незабвенной,
 О древней хижине, где юность провождал
 И Титира свирель потомству передал.
 Но там ли, где всегда роскошная природа
 И раскаленный Феб с безоблачного свода
 Обилием поля счастливые дарит,
 Таланта колыбель и область Пиерид?
 Нет! нет! И в севере любимец их не
 дремлет,
 Но гласу громкому самой природы внимлет,
 Свершая славный путь, предписанный
 судьбой,
 Природы ужасы, стихий враждебных бой,
 Ревущие со скал угрюмых водопады,
 Пустыни снежные, льдов вечные громады
 Иль моря шумного необозримый вид:

И Уну, спящую средь звонких камышей,
И день, чудесный день, без ночи, без
зарей!..»

В Пальмире севера, в жилище шумной
славы

Державин камские воспоминал дубравы,
Отчизны сладкий дым и древний град отцов.
На тучны пажити приволжских берегов
Как часто Дмитриев, расторгнув светски
узы,

Водил нас по следам своей счастливой музыки,
Столь чистой, как струи царицы светлых
вод,

На коих в первый раз зрел солнечный
восход,

Певец сибирского Пизарра вдохновенный!..

Так, свыше нежною душою одаренный,

Пиит от юности до серебряных волос

Лелеет в памяти страну своих отцов.

На жизненном пути ему дарует гений

Неиссякаемый источник наслаждений

В замену счастья и скудных мира благ:

С ним Муза тайная живет во всех местах

И в мире дивный мир любимцу созидает,

Пускай свирепый рок по воле им играет;

Пускай незнаемый, без влата и честей,

С главой поникшею он бродит меж людей;

Пускай Фортуною от детства удостоен

Он будет судия, министр иль в поле воин:

Но Музам и себе нигде не изменит.

В самом молчании он будет все Пиит.

В самом бездействии он с деятельным духом,

Все сильно чувствует, все ловит взором,
слухом.

Всем наслаждается, и всюду наконец
Готовит Фебу дань его грядущий жрец.

СМЕСЬ



ХОР
ДЛЯ ВЫПУСКА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
СМОЛЬЦОГО МОНАСТЫРЯ

Один голос

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечный.

Хор

Прости, гостеприимный кров,
Жилище юности беспечной!
Подруги! сердце в первый раз
Здесь чувства сладкие познало;
Здесь дружество навек златою цепью нас,
Подруги милые, связало.
Так! сердце наше в первый раз
Здесь чувства сладкие познало.

Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья:
К тебе летят сердца усердные детей
И тайные благословенья.
Виновница счастливых дней!
Прими сердец благодаренья!

Наш царь, подруги, посещал
Сие жилище безмятежно:
Он сам в глазах детей признательность читал
К его родительнице нежной.
Монарх великий посещал
Жилище наше безмятежно!

Простой, усердный глас детей
Прими, о, боже, покровитель!
Источник новый благ и радости пролей
На мирную сию обитель.
И ты, о, боже, глас детей
Прими, всесильный покровитель!
Мы чтим здесь от юных лет
Закон твой, благи зерцало;
Под сенью алтарей, тобой хранимый цвет,
Здесь юность наша расцветала.
Мы чтим здесь от юных лет
Закон твой, благи зерцало.

Ф и н а л

Прости же ты, священный кров,
Обитель юности беспечной,
Где время средь забав, веселий и трудов
Как сон промчалось скоротечный!
Где сердце в жизни в первый раз
От чувств веселья трепетало,
И дружество навек влатою цепью нас,
Подруги милые, связало!

ПЕСНЬ ГАРАЛЬДА СМЕЛОГО

Мы, други, летали по бурным морям,
От родины милой летали далеко!
На суше, на море мы бились жестоко;
И море и суша покорствуют нам!
О други! как сердце у смелых кипело,
Когда мы, содвинув стеной корабли,
Как птицы, неслися станицей веселой
Вкруг пажитей тучных Сиканской земли...
А дева русская Гаральда презирает.

О други! я младость не праздно провел!
С сынами Дронштейма вы помните сечу?
Как вихорь, пред вами я мчался навстречу
Под камни и тучи свистящие стрел.
Напрасно сдвигались народы; мечами
Напрасно о наши стучали щиты:
Как бледные класы под ливнем, упали
И всадник и пеший; владыка, и ты!
А дева русская Гаральда презирает.

Нас было лишь трое на легком челне;
А море вздымалось, я помню, горами;
Ночь черная в полдень нависла с громами,
И Гела зияла в соленой волне.

Но волны напрасно, яряся, хлестали:
Я черпал их шлемом; работал веслом:
С Гаральдом, о други, вы страха не знали,
И в мирную пристань влетели с челном!
А дева русская Гаральда презирает.

Вы, други, видали меня на коне?
Вы зрели, как рушил секирой твердыни,
Летая на бурном питомце пустыни
Сквозь пепел и выюгу в пожарном огне?
Железом я ноги мои окриляя,
И лань упряждаю по звонкому льду;
Я хладную влагу рукой рассекая,
Как лебедь отважный по морю иду...
А дева русская Гаральда презирает.

Я в мирных родился полночи снегах;
Но рано отбросил доспехи ловитвы —
Лук грозный и лыжи, и в шумные битвы
Вас, други, с собою умчал на судах.
Не тщетно за славой летали далеко
От милой отчизны по диким морям;
Не тщетно мы бились мечами жестоко:
И море и суша покорствуют нам!
А дева русская Гаральда презирает.

ВАКХАНКА

Все на праздник Эригоны
Жрицы Вакховы текли;
Ветры с шумом разнесли
Громкий вой их, плеск и стоны.
В чаще дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней — она бежала
Легче серны молодой. —
Эвры волосы взвевали,
Перевитые плющом;
Нагло ризы поднимали
И свивали их клубком.
Стройный стан, кругом обвитый
Хмеля желтого венцом,
И пылающи ланиты
Розы ярким багрецом,
И уста, в которых тает
Пурпуровый виноград, —
Все в неистовой прельщает,
В сердце льет огонь и яд!
Я за ней. . . она бежала
Легче серны молодой —
Я настиг; она упала!
И тимпан под головой!

Жрицы Вакховы промчались
С громким воплем мимо нас:
И по роще раздавались
. Эвоя! и неги глас! —

СОИ ВОШНОВ

Из поэмы Иснель и Аслега

Битва кончилась; ратники пируют вокруг
зажженных дубов. . .

. . . По вскоре пламень потухает
И гаснет пепел черных пней,
И томный сон отягощает
Лежащих воев средь полей.
Сомкнулись очи; но призрѣки
Тревожат краткий их покой:
Иной лесов проходит мраки,
Зверей голодных слышит вой;
Иной на лодке легкой реет
Среди кипящих в море волн;
Веслом десница не владеет,
И гибнет в бездне бранный чолн;
Иной места узрел знакомы,
Места отчизны, милый край!
Уж слышит псов домашних лай,
И зрит отцов поля и дома,
И нежных чад своих. . . Мечты!
Проснулся в бездне темноты!
Иной чудовище сражает —
Бесплодно меч его сверкает;
Махнул еще, его рука

Поднята вверх... окостенела;
Бежать хотел, его нога
Дрожит, недвижима, замлела;
Встает, и пал! Иной плывет
Поверх прозрачных, тихих вод,
И пенит волны под рукою;
Волна, усиленна волною,
Клубится, пенится горой
И вдруг обрушилась, клокочет;
Несчастный борется с рекой,
Воззвать к дружине верной хочет;
И голос замер на устах!
Другой бежит на поле ратном,
Бежит, глотая пыль и прах;
Трикат сверкал мечом булатным,
И в воздухе недвижим меч!
Звеня, упали латы с плеч...
Копье рамена прободает,
И хлещет кровь из них рекой;
Несчастный раны зажимает
Холодной, трепетной рукой!
Проснулся он... и тщетно ищет
И ран и вражьего копья. —
Но ветер шумит и в роще свищет;
И волны мутного ручья
Подожвы скал угрюмых роют,
Клубятся, пенятся и воют
Средь дебрей снежных и холмов...

РАЗЛУКА

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял;
Надолго с милой разлучаясь,
Вздыхая, он сказал:

«Не плачь, красавица! слезами
Кручине злой не пособить!
Клянуся честью и усами
Любви не изменить!

Любви непобедима сила!
Она мой верный щит в войне:
Булат в руке, а в сердце Лила, —
Чего страшиться мне?

Не плачь, красавица! слезами
Кручине злой не пособить!
А если изменю... усами
Клянусь наказан быть!

Тогда, мой верный конь, споткнися,
Летя во вражий стан стрелой,
Уздечка бранная, порвися
И стремя под ногой!

Пускай булат в руке с размаха
Изломится, как прут гнилой,
И я, бледнея весь от страха,
Явлюсь перед тобой!»

Но верный конь не спотыкался
Под нашим всадником эхким,
Булат в боях не изломался, —
И честь гусара с ним!

А он забыл любовь и слезы
Своей пастушки дорогой,
И рвал в чужбине счастья розы
С красавицей другой.

Но что же сделала пастушка? —
Другому сердце отдала.
Любовь красавицам игрушка,
А клятвы их — слова!

Все здесь, друзья! изменой дышит,
Теперь нет верности нигде!
Амур, смеясь, все клятвы пишет
Стрелою на воде.

ЛОЖНЫЙ СТРАХ

Подражание Парни

Помнишь ли, мой друг бесценный!
Как с Амурами тишком,
Мраком ночи окруженный,
Я к тебе прокрался в дом?
Помнишь ли, о друг мой нежный!
Как дрожащая рука
От победы неизбежной
Защищалась — но слегка?
Слышен шум! ты испугалась!
Свет блеснул, и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный час!
Ты пугалась; я смеялся.
«Нам ли ведать, Хлоя, страх!
Гимней за всё ручался,
И Амуры на часах.
Все в безмолвии глубоком,
Все почило сладким сном!
Дремлет Аргус томным оком
Под Морфеевым крылом!»
Рано утренние розы
Запылали в небесах...
Но любви бесценны слезы,

Но улыбка на устах,
Томно персей волнованье
Под прозрачным полотном,
Молча новое свиданье
Обещали вечерком.
Если б Зевсова десница
Мне вручила ночь и день,
Поздно б юная денница
Прогоняла черну тень!
Поздно б солнце выходило
На восточное крыльцо;
Чуть блеснуло б и сокрыло
За лес рдяное лицо;
Долго б тени пролежали
Влажной ночи на полях;
Долго б смертные вкушали
Сладострастие в мечтах.
Дружбе дам я час единый
Вакху час и сну другой;
Остальною ж половиной
Поделюсь, мой друг, с тобой!

СОЦ МОГОЛЬЦА

Баснь

Могольцу снилися жилища Елисейски:

Визирь блаженный в них
За добрые дела житейски,
В числе угодников святых,
Покойно спал на лоне Гурий.

Но сонный видит ад,
Где пламенем объят,
Терзаемый бичами Фурий,

Пустынник испускал ужасный вопль и стоны.

Моголец в ужасе проснулся,
Не ведая, что значит сон.

Он думал, что пророк в сих мертвых
обманулся.

Иль тайну для него скрывал;

Тотчас гадателя призвал,

И тот ему в ответ: «Я не дивлюсь ни мало,

Что в снах есть разум, цель и склад.

Нам небо и в мечтах премудрость

завещало...

Сей праведник, Визирь, оставя двор и град,

Жил честно и всегда любил уединенье;

Пустынник на поклон таскался к Визирям».

С гадателем сказав, что значит сновиденье,
Внушил бы я любовь к деревне и полям
Обитель мирная! в тебе успокоенье
И все дары небес даются щедро нам.

Уединение, источник благ и счастья!
Места любимые! ужели никогда
Не скроюсь в вашу сень от бури и ненастья?
Блаженству моему настанет ли чреда?
Ах! кто остановит меня под мрачной тенью?
Когда перенесусь в священные леса?
О, музы! сельских дней утеха и краса!
Научите ль меня небесных тел теченью?
Светил блистающих несчетны имена
Узнаю ли от вас? Иль, если мне дана
Способность малая и скудно дарозанье,
Пускай пленит меня источников журчанье,
И я любовь и мир пустынный воспою!
Пусть Парка не прядет из злата жизнь мою,
И я не буду спать под бархатным наметом;
Ужели через то я потеряю сон?
И меньше ль по трудах мне будет сладок он?
Зимой — близ огонька, в тени древесной —
летом.

Без страха двери сам для Парки ототру,
Беспечно век прожив, спокойно и умру.

ЛЮБОВЬ В ЧЕЛНОКЕ

Месяц плавал над рекою,
Всё спокойно! ветерок
Вдруг повеял, и волною
Принесло ко мне челнок.

Мальчик в нем сидел прекрасный:
Тяжким правил он веслом.
«Ах, малютка мой несчастный!
Ты потонешь с челноком».

— «Добрый путник, дай помогу;
Я не справляю, сидя в нем.
На — весло! и понемногу
Мы к ночлегу доплывем».

Жалко мне малютки стало;
Сел в челнок и — за весло!
Парус ветром надувало,
Нас стрелою понесло.

И вдоль берега помчались,
По теченью быстрых вод;
А на берег собирались
Стаей нимфы в хоровод.

Резвые смеялись, пели
И цветы кидали в нас;
Мы неслись, стрелой летели...
О беда! О страшный час!..

Я заслушался, забылся,
Ветер с моря заревел;
Мой челнок о мель разбился,
А малютка... улетел!

Кое-как на голый камень
Вышел, с горем пополам;
Я обмок — а в сердце пламень:
Из беды опять к бедам!

Всюду нимф ищю прекрасных,
Всюду в горести брожу.
Лишь в мечтаньях сладострастных
Тени милых нахожу.

Добрый путник! в час погоды
Не садися ты в челнок!
Знать, сии опасны воды;
Знать, малютка... страшный бог!

СЧАСТЛИВЕЦ

Подражание Касты

Слышишь! мчится колесница
Там по звонкой мостовой!
Правит сильная десница
Коней серебряной браздой!

Их копыта бьют о камень;
Искры сыплются струей;
Пышет дым и черный пламень
Излетает из ноздрей!

Резьбой дивною и златом
Колесница вся горит:
На ковре ее богатом
Кто ж, Лизета, кто сидит?

Временщик, вельмож любимец,
Что на откуп город взял...
Ах! давно ли он у крылец
Пыль смиренно обметал?

Вот он с нами поровнялся
И едва кивнул главой;

Вот уж молнией промчался,
Пыль оставя за собой!

Добрый путь! пока лелеет
В колыбели счастье вас!
Поздно ль? рано ль? но приспееет
И невзгоды страшный час.

Ах, Лизета! лъзя ль прельщаться
И теперь его судьбой?
Не ему счастливым зваться
С развращенною душой!

Там, где хитростью искусства
Розы в зиму расцвели;
Там, где всё пленяет чувства,
Дань морей и дань земли:

Мрамор дивный из Пароса
И кораллы на стенах;
Там, где в роскоши Пафоса
На узорчатых коврах

Счастья шаткого любимец
С нимфами забвенъе цвет —
Там же слезы сей счастливец
От людей украдкой льет.

Бледен, ночью Крез несчастный
Шепчет тихо, чтоб жена
Не вняла сей глас ужасный:
Мне погибель суждена!

Сердце наше кладезь мрачный:
Тих, покоен сверху вид,
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит!

Душ великих сладострастье,
Совесты! зоркий страж сердец!
Без тебя ничтожно счастье,
Гибель — злато и венец!

РАДОСТЬ

Подражание Касты

Любимца Кипридина
И миртом и розою
Венчайте, о, юноши
И девы стыдливые!
Толпами собирайтесь,
Руками сплетайтесь
И, радостно токая,
Скачите и прыгайте!
Мне лиру Тиискую
Камены и Грации
Вручили с улыбкою:
И песни веселию,
Приятнее нектара
И слаще амвросии,
Что пьют небожители,
В блаженстве беспечные,
Польются со струн ее!
Сегодня — день радости —
Филлида суровая,
Сквозь слезы стыдливости
«Люблю!» мне промолвила.
Как роза, кропимая
В час утра Авророю,

С главой, отягченной
Бесценными каплями,
Румяней становится, —
Так ты, о, прекрасная!
С главою поникшею,
Сквозь слезы стыдливости,
Краснея, промолвила:
«Люблю!» тихим шопотом
Все мне улыбнулося! —
Тоска и мучения
И страхи и горести
Исчезли — как не было!
Киприда, влекомая
По воздуху синему
Меж бисерных облаков
Цитерскими птицами
К Цитере или Пафосу,
Цветами осыпала
Меня и красавицу.
Всё мне улыбнулося! —
И солнце весеннее,
И рощи кудрявые,
И воды прозрачные,
И холмы парнасские!
Любимца Кипридина,
В любви победителя,
И миртом и розою
Венчайте, о, юноши
И девы стыдливые!

К II.

Как я люблю, товарищ мой,
Весны роскошной появленье
И в первый раз над муравой
Веселых жаворонков пенье.
Но слаще мне среди полей
Увидеть первые бизаки
И ждать беспечно у огней
С рассветом дня кровавой драки.
Какое счастье, рыцарь мой!
Узреть с нагорных вершины
Необозримый наших строй
На яркой зелени долины!
Как сладко слышать у шатра
Вечерней пушки гул далекий
И погрузиться до утра
Под теплой буркой в сон глубокий.
Когда по утренним росам
Коней раздастся первый топот,
И ружей протяженный грохот
Пробудит эхо по горам,
Как весело перед строями
Летать на ухарском коне
И с первыми в дыму, в огне,
Ударить с криком за врагами!
Как весело внимать: «Стрелки,

Вперед! сюда, донцы! Гусары!
Сюда, летучие полки,
Башкирцы, горцы и татары!»
Свисти теперь, жужжи, свинец!
Летайте, ядра и картечи!
Что вы для них? для сих сердец,
Природой вскормленных для сечи?
И вот... о, зрелище прекрасно!
Колонны сдвинулись, как лес.
Идут — безмолвие ужасно!
Идут — ружье наперевес;
Идут... ура! — и всё сломили,
Рассеяли и разгромили:
Ура! ура! — и где же враг?..
Бежит, а мы в его домах, —
О, радость храбрых! — киверами
Вино некупленное пьем
И под победными громами
Мы хвалим господу, поем!..

Но ты трепещешь, юный воин,
Склонясь на сабли рукоять:
Твой дух встревожен, беспокоен;
Он рвется лавры пожинать:
С Суворовым он вечно бродит
В полях кровавая войны
И в вялом мире не находит
Отрадной сердцу тишины.
Спокойся; с первыми громами
К знаменам славы полетишь;
Но там, о, горе, не узришь
Меня, как прежде, под шатрами!

· Забытый шумною молвой,
Сердце мучительницей милой,
Я сплю, как труженик унылый,
Не оживляемый хвалой.

ЭПИГРАММЫ, НАДПИСИ И ПР.

I

Всегдашний гость, мучитель мой,
О, Балдус! долго ль мне зевать, дремать
Будь крошечку умней или — дай жить ^{с тобой?}
Когда жестокий рок сведет тебя со мной — ^{в покое!}
Я не один и нас не двое.

II

Как трудно Бибрису со славою ужиться!
Он пьет, чтобы писать, и пишет, чтоб
напиться!

III

Памфил забавен за столом,
Хоть часто и на зло рассудку:
Веселостью обязан он желудку:
А памяти — умом.

IV

СОВЕТ ЭПИЧЕСКОМУ СТИХОТВОРЦУ

Какое хочешь имя дай
 Твоей поэме полудикой:
 Петр длинный, Петр большой, но только
 Петр Великой —
 Ее не называй.

V

МАДРИГАЛ НОВОЙ САФЕ

Ты — Сафо, я — Фаон, — об этом и не
 спорю,
 Но, к моему ты горю,
 Пути не знаешь к морю.

VI

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ Н. В.

И телом и душой ты на Амура схожа:
 Коварна и умна и столько же пригожа.

VII

К ЦВЕТАМ НАШЕГО ГОРАЦИЯ

Ни вьюги, ни морозы
 Цветов твоих не истребят.
 Бог лиры, бог любви и музыки мне твердят:
 В саду Горация не увядают розы.

VIII
К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Под знаменем Москвы, пред падшею
столицей
Он храбрым гимны пел, как пламенный
Тиртей;
В дни мира, новый Грей,
Пленяет нас задумчивой цевницею.

IX
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ
ГРАФА ЭММАНУИЛА СЕН-ПРИ

От родины его отторгнула судьбина:
Но лилиям отцов он всюду верен был:
И в нашем стане воскресил
Баярда древний дух и доблесть Дюгесклина.

X
НАДПИСЬ НА ГРОБЕ ПАСТУШКИ

Подрути милые! в беспечности игривой
Под плясовой напев вы резвитесь в лугах:
И я, как вы, жила в Аркадии счастливой;
И я на утре дней, в сих рощах и лугах
Минутны радости вкусила:
Любовь в мечтах златых мне счастье сулила;
Но что ж досталось мне в прекрасных сих
местах?

Могилы!

XI

МАДРИГАЛ МЕЛИЦЕ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЛА
СЕБЯ НИМФОЮ

Ты Нимфа Ио, — нет сомненья!
Но только... после превращенья!

•

XII

НА КНИГУ ПОД НАЗВАНИЕМ СМЕСЬ

По чести, это смесь:
Тут проза и стихи, и авторская спесь.

Да кучу серебра: сосуды и амфоры
Отделки мастерской.

Наследственным добром свои насытя взоры,
Такие завели друг с другом разговоры:
«Как думаешь своей казной расположить?» —

Клит спрашивал у брата;

«А я так дом хочу купить

И в нем тихохонько с женою век прожить
Под сенью отчего Пената.

Земляцы уголок не будет лишний нам:

От детства я любил ходить за виноградом,
Водиться знаю с стадом

И детям я мой плуг в наследство передам;

А ты как думаешь?» — «О! я с тобой
несходен;

Я пресмыкаться не способен

В толпе граждан простых,

И с помощью наследства

Для дальних замыслов моих,

Благодаря богам, теперь имею средства!» —

«Чего же хочешь ты?» — «Я? .. славен быть
хочу».

«Но чем?» — «Как чем? — умом, делами,

И красноречьем, и стихами,

И мало ль чем еще? Я в Мёмфис полечу

Делиться мудростью с жрецами:

Зачем сей создан мир? кто правит им и как?

Где кончится земля? где гордый Нил

родится?

Зачем под пеленой сокрыт Изиды зрак,

Зачем горящий Феб все к западу стремится?

Какое счастье, милый брат!

Я буду в мудрости соперник Пифагора! —
В Афинах обо мне тогда заговорят,
В Афинах? — что сказал! — от Нила до
Босфора
Прославится твой брат, твой верный
Филалет!

Какое счастье! десять лет
Я стану есть траву и нем как рыба буду;
Но красноречья дар, конечно, не забуду.
Ты знаешь, я всегда красноречив бывал
И площадь нашу посещал
Не даром.

Не стану я моим превозноситься даром,
Как наш Алкивиад, оратор слабых жен,
Или надутый Демосфен,
Кичась в пурпуре пред царскими послами.
Нет! нет! я каждого полезными речами
На площади градской намерен просвещать.
Ты сам, оставя плут, придешь меня внимать,
С народом шумные восторги разделяя,
И, слезы радости под мантией скрывая,
Красноречивейшим из греков называть.
Ты обоймешь меня дрожащею рукою,
Когда... поверишь ли? Гликерия сама
На площади с толпою
Меня провозгласит оракулом ума,
Ума и, может быть, любезности... Конечно,
Любезностью сердечной
Я буду нравиться и в сорок лет еще.
Тогда Афиняне забудут Демосфена
И Кратеса в плаще,
И бочку шута Диогена,

Которую, смотри... он катит мимо нас!» —

«Прощай же, братец, в добрый час!

Счастливого пути к премудрости желаю», —

Клит молвит краснобаю; —

«Я вижу, нам тебя ничем не удержать!»

Вздыхнул, пожал плечьми и к городу опять

Пошел — домашний быт и домик снаряжать.

А Филалет? — К Пирею,

Чтоб судно Тирское застать

И в Мемфис полететь с румяною зарею.

Признаться, он вздохнул, начавши Одиссею... .

Но кто не пожалел об отческой земле,

Надолго расставаясь с нею?

Семь дней на корабле,

Зевая,

Проказник наш сидел

И на море глядел,

От скуки сам с собой вполголос рассуждая.

Да где ж Тритоны все? где стаи Нерид?

Где скрылся они с толпой Океанид?

Я ни одной не вижу в море?

И не увидел их. Но ветер свежий вскоре

В Египет странника принес;

Уже он в Мемфисе, в обители чудес;

Уже в святилище премудрости вступает,

Как мумия сидит среди бород седых

И десять дней зевает

За поученьем их

О жертвах каменной Изиде,

Об Аписе-быже иль грозном Озириде,

О псах Анубиса, о чесноке святом,

Усердно славимом на Ниле,

О кровожадном крокодиле
И... о коте большом!..
«Какие глупости! какое заблуждение!
Клянуся Пóллуксом! нет слушать боле сил!»
Грек молвил, потеряв и важность
и терпенье,

С скамьи как бешеный вскочил
И псу священному — о, ужас! — наступил
На божескую лапу...

Скорее в руки посох, шляпу,
Скорей из Мемфиса бежать
От гнева старцев разъяренных,
От крокодилов, псов и луковиц священных,
И между греков просвещенных
Любезной мудрости искать.

На первом корабле он полетел в Кротону.
В Кротоне бьет челом смиренно Агатону,

Мудрейшему из мудрецов,
Жестокому врагу и мяса и бобов
(Их в гнѳе Пифагор, его учитель славный,
Проклятьем страшным поразил,
Затем что у него желудок неисправный
Бобов и мяса не варил).

«Ты мудрости ко мне, мой сын, пришел
учиться?» —

У грека старец спросил
С усмешкой хитрою, — «итак, прошу садиться
И слушать пенье Сфер: ты слышишь?» —
«Ничего!» —

«А видишь ли в девятом мире
Духов, летающих в Эфире?» —
«И менее того!»

«Увидишь, попостись ты года три, четыре,
Да лет с десяток помолчи;
Тогда, мой сын, тогда обнимешь бранным
взором

Все тайной мудрости лучи;
Обнимешь, я тебе клянуся Пифагором...»—
«Согласен, так и быть!»

Но греку шутка ли и день не говорить?
А десять лет молчать, молчать да всё
поститься, —

Зачем? чтоб мудрецом,
С морщинным от поста и мудрости челом,
В Афины возвратиться?
О нет!

Чрез сутки возопил голодный Филалет:
«Юпитер дал мне ум с рассудком
Не для того, чтоб я ходил с пустым
желудком:

Я мудрости такой покорнейший слуга;
Прощайте ж навсегда Кротонски берега!»
Сказал я к Этне путь направил;
За делом! чтоб на ней узнать, зачем и как
Изношенный башмак

Философ Эмпедокл пред смертью там
оставил?

Узнал — и с вестью сей

Он в Грецию скорей

С усталой от забот и праздности душою.
Повсюду гость среди людей,
Везде за трапезой чужою,
Наш странник обходил
Поля, селения и грады,

Но счастья не находил
 Под небом счастливым Элады.
 Спеша из края в край, он игры посещал,
 Забавы, зрелища, ристанья,
 И даже прорицанья
 Без веры вопрошал;
 Но хижину отцов нередко вспоминал,
 В ненастье по лесам бродя с своей клюкою,
 Как червем, тайною снедаемый тоскою,
 Притом же кошелек
 У грека стал легок;
 А ночью, как он шел через Лаконски горы,
 Отбили у него
 И остальное воры.
 Счастлив еще, что жизнь не отняли его!
 «Но жизнь без денег что? — мученье
 нестерпимо!»
 Так думал Филалет,
 Тащась полунагой в степи необозримой.
 Три раза солнца свет
 Сменялся мраком ночи,
 Но странника не зрели очи
 Ни жила, ни стези: повсюду степь и степь
 Да гор в дали туманной цепь,
 Илотов и воров ужасные жилища.
 Что делать в горе! что начать!
 Придется умирать
 В пустыне, одному, без помощи, без пищи.
 «Нет, боги, нет! —
 Терзая грудь, вопил несчастный Филалет, —
 Я знаю, как покинуть свет!
 Не стану голодом томиться!»

И, меж кустов реку завидя вдалеке,

Он бросился к реке —

Топиться!

«Что, что ты делаешь, слепец?»

Несчастному вскричал Скептический мудрец,

Памфил седобородый,

Который над водой, любуясь природой,

Один с клюкой тихонько брел

И, к счастью, странника нашел

На крае гибельной напасти.

«Топиться хочешь ты? Согласен; но сперва

Поведай мне, твоя спокойна ль голова?

Рассудок ли тебя влечет в реку иль

страсти?

Рассудок: но его что нам вещает глас?

Что жизнь и смерть равны для нас.

Равны — так незачем топиться.

Дай руку мне, мой сын, и не стыдись учиться

У старца, чем мудрец здесь может быть

счастливым».

Кто жить советует, — всегда красноречив:

И наш герой остался жив.

В раселинах скалы, висящей над водою,

В тени приветливой смоковниц и олив,

Построен был шалаш Памфиловой рукою,

Где старец десять лет

Провел в молчании глубоком

И в вечность пронизал своим орлиным оком,

Забыв людей и свет.

Вот там-то ужин иль обед

Простой, но очень здравый,

Находит Филалет:

Орехи, жолуди и травы,
Большой сосуд воды, — и только. Боже мой!
Как сладостно искать для трапезы такой
В утехах мудрости, приправы!
Итак, в том дива нет, что с путником
Памфил

Об атараксии тотчас заговорил.

«Всё призрак!» — под конец хозяин

заклучил: —

«Богатство, честь и власти,
Болезнь и нищета, несчастья и страсти,

И я, и ты, и целый свет,

Всё призрак!» — «Сновиденье!» —

Со вздохом повторял унылый Филалет;

Но, глядя на сухой обед,

Вскричал: «Я голоден!» — «И это

заблужденье,

Всё грубых чувств обман; не сомневайся

в том».

Неделю попостясь с бородатым мудрецом,

Наш *призрак*-Филалет решил из пустыни

Отправиться в Афины.

Пора, пора блеснуть на площади умом!

Пора с философом расстаться,

Который нас не даром научил,

Как жить и в жизни сомневаться.

Услужливый Памфил

Монет с десяток сам бродяге предложил,

Котомкой с жолудями сушеными ссудил

И в час румяного рассвета

Сам вывел по тропам излучистым Тайгета

На путь Афинский Филалета.

А с ним и шум дневной родился.

Народ зашевелился.

В Афинах, как везде, час утра — час сует.

На площадь побежал ремесленник, Поэт,
Поденщик, говорун, с товарами купчина.

Софист, архонт и Фрина

С толпой невольниц и Сирен,

И бочку прикатил насмешник Диоген;

На площадь всяк идет для дела и без дела:

Нахлынули, — вся площадь закипела.

Вы помните, бульвар кипел в Париже так

Народа праздными толпами,

Когда по нем летал с нагайкою козак

Иль северный Амур с колчаном и стрелами.

Так точно весь народ толпился и жужжал

Перед ораторским амвоном.

Знак подан. Начинай! Рой шумный замолчал,

И ритор возвестил высокопарным тоном,

Что Аттике война

Погибельна, вредна;

Потом — велеречиво, ясно

По пальцам доказал, что в мире быть...

опасно.

«Что ж делать?» — закричал с досадою

народ.

«Что делать?.. сомневаться.

Сомненье мудрости есть самый зрелый плод.

Я вам советую, граждане, колебаться —

И не мириться, и не драться!..»

Народ всегда нетерпелив.

Сперва наш краснобай услышал легкий ропот,

Шушуканье, а там поближе громкий хохот,

А там... Но он стоит уже ни мертв, ни жив.

Разинув рот, потупив взгляды,
Мертвее во сто раз, чем мертвецы баллады.

Еще проходит миг —

«Ну, что же? *продолжай!*» — Оратор всё
ни слова:

От страха — где язык!

Зато какой в толпе поднялся страшный крик,

Какая туча там готова!

На кафедру летит град яблоков и фиг,

И камни уж свистят над жертвой...

И жалкий Филалет, избитый, полумертвый,

С ступени на ступень в отчаяньи летит

И падает без чувств под верную защиту

В объятия отверзты... к Клиту! —

Итак тщеславного спасает бедный Клит,

Простяк, неграмотный, презренный,

В Афинах дни влачить без славы осужденный.

Он, он, прижав его к груди,

Нахальных крикунов толкает на пути,

Одним грозит, у тех пощады просит

И брата своего, как старика Эней,

К порогу хижины своей

На раменах доносит.

Как брата в хижине лелеет добрый Клит!

Не сводит глаз с него, с ним сладко говорит

С простым, но сильным чувством.

Пред дружбой ничего и Гиппократ

с искусством!

В три дни страдалец наш оправился и встал,

И брату кинулся на шею со слезами;

А брат гостей назвал

Напрасно Клит с женой ему кричали вслед
С домашнего порога:

«Брат, милый, воротись, мы просим, ради
бога!

Чего тебе искать в чужбине? новых бед?

Откройся, что тебе в отечестве не мило?

Иль дружество тебя, жестокий, огорчило?

Останься, милый брат, останься, Филалет!»

Напрасные слова — чужак не воротился —

Рукой махнул... и скрылся.

**ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ
1805—1817 ГОДОВ,
НЕ ВОШЕДШИХ
В „ОПЫТЫ“**

4

•

•

•

•

•

•

ЭЛЕГИЯ

Как счастье медленно приходит,
Как скоро прочь от нас летит!
Блажен, за ним кто не бежит,
Но сам в себе его находит!
В печальной юности моей
Я был счастлив — одну минуту,
За то, увы! и горесть люту
Терпел от рока и людей!
Обман надежды нам приятен,
Приятен нам хоть и на час!
Блажен, кому надежды глас
В самом несчастья сердцу внятен!
Но прочь уже теперь бежит
Мечта, что прежде сердцу льстила;
Надежда сердцу изменила
И вздох за нею вслед летит!
Хочу я часто заблуждаться,
Забуть неверную... но нет!
Несносной правды вижу свет,
И должно мне с мечтой расстаться!
На свете все я потерял,
Цвет юности моей увял:
Любовь, что счастьем мне мечталась,
Любовь одна во мне осталась!

НА СМЕРТЬ П. П. ПИНА

Que vois-je, c'en est fait;
je t'embrasse, et tu meurs.

Voltaire

Где друг наш? Где певец? Где юности
красы?

Увы, исчезло все под острием косы!

Любимца нежных муз осиротела лира,

Замолк певец: он был, как мы, лишь
странник мира!

Нет друга нашего, его навеки нет!

Недолго мир им украшался:

Завял, увы, как майский цвет, .

И жизни на заре с друзьями он расстался!

Пинин чувствам дружества с восторгом
предавался;

Несчастливым не одно он золото дарил. . .

Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.

Пинин был согражданам полезен,

Пером от злой судьбы невинность защищал.

В беседах дружеских любезен,

Друзей в родных он обращал.

И мы теперь, друзья, вокруг его могилы

Объемлем только холодный прах,

Твердим с тоской и во слезах:
Покойся в мире, друг наш милый,
Питомец Граций, Муз, ты жив у нас
в сердцах!

Когда в последний раз его мы обнимали,
Казалось, с нами мир грустил,
И сам Амур в печали
Светильник погасил:
Не кипарисну ветвь унылу,
Но розу на его он положил могилу.

Чем исполнскими шагами
За славой побежать и в яму поскользится?»
Охоты, право, не имею
Через то я сделаться смешным
И умным, и глупцам, и злым,
Иль, громку лиру взяв, пойти вослед Алкею,
Надувшись пузырем, родить один лишь
дым.
Как Рифмин, закричать: «Ликуй, земля,
со мною!
Воспряньте, камни, лес! Зрю муз перед
собою!
Восторг! Лечу на Пинд!.. Простите, что
упал:

Ведь я Пиндариу подражал!»
Что в громких песнях мне? Доволен
я мечтами

В покойном уголке тихонько притаюсь,

Но с светом вовсе не простясь:
Играя мыслями, я властвую духами.

Мы право не живем

На месте все одним,

Но мыслями летаем;

То в Африку плывем,

То на развалинах Пальмиры побываем,

То трубку выкурим с султаном иль пашой,

Или, пленясь вдруг султановой женой,

Фатимой томной, молодой,

Тотчас дарим его рогами;

Смеемся муфтию, деремся с визирями,

И после, убежав (кто в мыслях не
колдун?), —

Увидим стройных Нимф, услышим звуки
струн

И где ж очутимся? На бале и в Париже!
И так мечтанием бываем к счастью ближе,
А счастье лишь там живет,
Где нас, безумных, нет.

Мы сказки любим все, мы — дети, но
большие.

Что в истине пустой? Она лишь ум сушит,
Мечта все в мире золотит,
И от печали вляя
Мечта нам щит.

Ах, должно ль запретить и сердцу
забываться,

Поэтов променя на скучных мудрецов!
Поэты не дают с фантазией расстаться,
Мы с ними посреди Армидиных садов,

В прохладе рощ тенистых
Внимаем пению Орфеев голосистых.

При шуме ветерков на розах нежных спим
И возле Нимф вздыхаем,

С богами даже говорим,
А с мудрецами лишь болтаем,

Браним несчастный мир, да рассердясь...
зееваем.

... ..
Так сердце может лишь мечтою услаждаться!
Оно все хочет оживить:

В лесу на утлом пне друидов находить,
Укрывшихся под ель, рукой времян согбенну,
Услышать Барда песнь священну,

С Мальвиною вздохнуть на берегу морском
О ратнике младом.

Всё сердцу в мире сем вещает.

И гроб безмолвен не бывает,

И камень иногда пустынный говорит:
Герой здесь спит!

Так сердцем рождена Поэзия любезна,
Как нектар сладостный, приятна и полезна.

Язык ее — язык богов;

Им дивный говорил Омир, отец стихов.

Язык сей у творца берет Протея виды.

Иной поет любовь: любимец Афродиты,

С свирелью тихою, с увенчанной главой,

Вкушает лишь покой,

Лишь радости одни встречает

И розами стезю сей жизни устилает.

Другой,

Как славный Тасс, волшебною рукой

Являет дивный храм природы

И всех чудес ее тьмочисленные роды:

Я зрю то мрачный ад,

То счастья чертог, Армидин дивный сад;

Когда же он дела героев прославляет

И битве воспевает,

Я слышу треск и гром, я слышу стон и

крик...

Таков поэзии язык!

Не много ли с тобой уж я заговорился?

Я чересчур болтаив: я с Фебом подружился.

А с ним ли бедному поэту сдобровать?

Но чтоб к концу привести начатое маранье,

Хочу тебе сказать,
Что применить себя твой друг имел
старанье,
Увы, и не успел! Прими мое признанье!
Никак я не могу одним доволен быть,
И лучше розы мне на терны пременить,
Чем розами всегда одними восхищаться.
Итак, не должно удивляться,
Что ветреный твой друг —
Поэт, любовник вдруг
И через день потом философ с грозным
тоном,
А больше дружен с Аполлоном,
Хоть и нейдет за славы громом,
Но пишет все стихи,
Которы за грехи,
Краснея, друзьям вполголоса читает
И первый сам от них зевает.

Безрифмина совет:
Без жалости все сжечь мое стихотворенье!
Быть так! Его ж, друзья, невинное творенье
Своею смертью умрет!

ПАСТУХ И СОЛОВЕЙ

Басня

Владиславу Александровичу Озерову

Любимец строгой Мельпомены,
Прости усердный стих безвестному певцу!
 Не лавры к твоему венцу,
 Рукою дерзкою сплетены,
Я в дар тебе принес. К чему мой фимиам
Творцу Димитрия, кому бессмертны Музы,
 Сложив признательности узы,
 Открыли славы храм?
А храм сей затворен для всех зоилов строгих,
Богатых завистью, талантами убогих.
Ах, если и теперь они своей рукой
Посмеют к твоему творенью прикасаться,
А ты, наш Эврипид, чтоб позабыть их рой,
 Захочешь с музами расстаться
 И боле не писать,
Тогда прошу тебя рассказ мой прочитать.
Пастух, задумавшись в ночи безмолвной мая,
С высокого холма вокруг себя смотрел,
Как месяц в тишине великолепно шел,
Лучом серебряным долины освещая,
Как в рощах липовых чуть легким ветерком
 Листы колеблемы шептали,

И светлые ручьи, почив с природой сном,
Едва меж берегов струей своей мелькали.

Из рощи соловей

Долины оглашал гармонией своей,

И эхо песнь его холмам передавало.

Всё душу пастуха задумчиво пленяло.

Как вдруг певец любви на ветвях замолчал.

Напрасно наш пастух просил о песнях

новых.

Печальный соловей, вздохнув, ему сказал:

«Недолго в рощах сих дубовых

Я радость воспевал!

Пройдет и петь охота,

Когда с соседнего болота

Лягушки кваканьем как бы на зло глушат;

Пусть эта тварь поет, а соловьи молчат!»

«Пой, нежный соловей, — пастух сказал

Орфею, —

Для них ушей я не имею.

Ты им молчаньем петь охоту придаешь:

Кто будет слушать их, когда ты запоешь?»

И. П. ГНЕДИЧУ

Прерву теперь молчанья узы
Для друга сердца моего.
Давно ты от ленивой музыки,
Давно не слышал ничего.
И можно ль петь моей цевнице
В пустыне дикой и пустой,
Куда никак нельзя царице
Поэзии притти молодой?
И мне ли петь под гнетом рока,
Когда меня судьба жестока
Лишила друга и родни?..

Пусть хладные сердца одни
Средь моря бедствий засыпают
И взор спокойно обращают
На гробы ближних и друзей,
На смерть, на клевету жестоку,
Ползущу низкою змией,
Чтоб рану нанести жестоку
И непорочности самой.
Но мне ль с чувствительной душой
Быть в мире вол спокойной жертвой
И клеветы, и разных бед?..
Увы! я знаю, что сей свет
Могилой создан нам отверстой,

Куда падет, сражен косою,
И царь с венчанною главой,
И пастырь, и монах, и воин!
Ужели я один достоин
И вечно жить, и быть блажен?

Увы! здесь всяк отягощен
Ярмом печали и цепями,
Которых нам по смерть руками,
Столь слабыми, нельзя сложить.
Но можно ль их, мой друг, влечить
Без слез, не сокрушась душевно?
Скорее морем лъзя безбедно
На валкой ладие проплыть,
Когда Борей расширит крылья,
Без вѣтру, снастей и кормила
И к небу взор не обратить.

Я плачу, друг мой, здесь с тобою,
А время молнией летит.
Уж месяц светлый надо мною
Спокойно в озеро глядит,
Всё спит под кровом майской ночи,
Едва ли водопад шумит,
Безмолвен дол, вдремали рощи,
В которых луч луны скользит
Сквозь ветки, на землю склоненны.
И я, Морфеем удрученный,
Прерву цевницы скорбный глас
И, может, в полуночный час
Тебя в мечте, мой друг, познаю
И раз еще облобызаю...

К ТАССУ¹

Позволь, священна тень! безвестному певцу
Коснуться к твоему бессмертному венцу
И сладость пения твоей авзонской музыки,
Достойной берегов прозрачной Аретузы,
Рукою слабою на лире повторить
И новым языком с тобою говорить.²

Среди Элизия, близ древнего Омира
Почнет тень твоя, и Аполлона лира
Еще согласьем дух поэта веселит.
Река забвения и пламенный Коцит
Тебя с любовницей, о, Тасс, не
разлучили:³
В Элизии теперь вас Музы съединили,
Печали нет для вас, и скорбь протекших
дней,
Как сладостну мечту, объемлете душой...

¹ Сие послание предположено было напечатать в заглавии перевода Освобожденного Иерусалима.

² Кажется, до сих пор у нас нет перевода Тассовых творений в стихах.

³ Торквато был жертвою любви и зависти. Всем любителям словесности известна жизнь его.

Торквато, кто испил все горькие отравы
 Печалей и любви и в храм бессмертной
 славы,
 Ведомый Музами, в дни юности проник, —
 Тот преждевременно несчастлив и велик! ¹
 Ты пел, и весь Парнас в восторге
 пробудился,
 В Феррару с Музами Феб юный ниспустился,
 Назонову тебе он лиру сам вручил
 И гений крыльями бессмертья осенил.
 Воспел ты бурную брань, и бледные Эвмениды
 Всех ужасов войны открыли мрачные виды:
 Бегут среди полей и топчут знамена,
 Светильником вражды их ярость разжена,
 Власы растрепанные и ризы обогрены,
 Я сам среди смертей... и Марс со мною
 медный...

Но ужасы войны, мечей и копий звук
 И гласы Марсовы, как сон, исчезли вдруг:
 Я слышу вдалеке пастушечьи свирели,
 И чувства душой иные овладели.
 Нет более вражды, и бог любви молодой
 Спокойно спит в цветах под миртою густой.
 Он встал, и меч опять в руке твоей блистает!
 Какой Протей тебя, Торквато, пременяет,
 Какой чудесный бог чрез дивные мечты
Рассеял мрачные и нежные красоты?

¹ Тасс десяти лет от роду писал стихи и, будучи принужден бежать из Неаполя с отцом своим, сравнивал себя с молодым Асканием. До тридцатилетнего возраста кончил он бессмертную поэму Иерусалима, написал Аминту, много рассуждений о словесности и пр.

Отрава для души и самых стихотворцев.
Любовь жестокая, источник зол твоих,
Явилась тебе среди палат златых,
И ты из рук ее взял чашу ядовиту,
Цветами юными и розами увиту,
Испил и, упоен любовною мечтой,
И лиру, и себя поверг пред красотой.
Но радость наша — ложь, но счастье —

крылато;
Завеса раздрана! Ты узник стал, Торквато!
В темницу мрачную ты брошен, как злодей,
Лишен и вольности, и Фебовых лучей.
Печаль глубокая поэтов дух сразила,
Исчез талант его и творческая сила,
И разум весь погиб! О, вы, которых яд
Торквату дал вкусить мучений лютых ад,
Придите зрелищем достойным веселиться
И гибелью его таланта насладиться!
Придите! вот поэт превыше смертных хвал,
Который говорить героев заставляя,
Проникнул взорами в небесные чертоги, —
В железах стонет здесь... О, милосерды
боги!

Доколе жертвою, невинность, будешь ты
Бесчестной зависти и адской клеветы?

Имело ли конец несчастье поэта?
Железною рукой печаль и быстры лета
Уже безвременно белят его власы,
В единообразии бегут, бегут часы,
Что день, то прежняя скорбь, что ночь —
мечты ужасны...

**ОТРЫВОК ИЗ ПЕСНИ
„ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА“**

Пустынный Петр говорил в верховном совете.
Он предложил Готфреда в вожди.

Скончал пустынный речь... Небесно
вдохновенье!

Не скрыто от тебя сердечное движенье,
Ты в старцовы уста глагол вложило сей
И сладость оног влило в сердца князей,
Ты укротило в них бунтующие страсти,
Дух буйной вольности, любовь врожденну
к власти:

Вильгельм и мудрый Гелф, первейший из
вождей,
Готфреда нарекли вождем самих царей.

И плески шумные избранье увенчали!
«Ему единому, — все ратники вещали, —
Ему единому вести ко славе нас!
Законы пусть дает его единый глас!
Доселе равные! его послушны воле,
Под знаменем святым пойдем на бранно
поле,

Поганство буйное святыне покорим.
Награда небо нам: умрем иль победим!»

Корнутский граф потом, вождь мудрости
избранный,
Четыреста мужей ведет на подвиг бранный;
Но трижды всадников тоlikое число
Под Бодоиновы знамена притекло.

Гелф славный возле них покрыл полками
поле,
Гелф славен счастьем, но мудростию боле.
Из дома Эстского сей витязь родился,
Воспринят Гелфом был и Гелфом назвался;
Каринтней теперь богатой обладает
И власть на ближние долины простирает,
По коим катит Рейн свой серебряный кристал:
Свев дикий искони там в детстве обитал.

ОТРЫВОК ИЗ XVIII ПЕСНИ „ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА“

Адские духи царствуют в очарованном лесе, Ринальд по повелению Готфреда, шествует туда, дабы истребить чары Исменоны.

Се час божественный Авроры золотой:
Со светом утренним слился мрак ночной,
Восток румяными огнями весь пылает,
И утренняя звезда во блесках потухает,
Оставя по траве, росой обмытый, след.
К горе Оливовой Ринальд уже течет.
Он в шествии своем светилы зрит небренны,
Руками вышнего на небесах возженны,
Зрит светлый свод небес, раскинут как
шатер,
И в мыслях говорит: «Колико ты простер,
Царь вечный и благий, сияния над нами!
В день солнце, образ твой, течет под
небесами,
В ночь тихую луна и сонм бесчисленных звезд
Лият утешный луч с лазури горних мест.
Но мы, несчастные, страстями упоенны,
Мы слепы для чудес: красавиц взор
влюбленный,
Улыбка страстная и вредные мечты

Приятнее для нас нетленной красоты». На твердые скалы в сих мыслях востекает И там чело свое к лицу земли склоняет, Но духом к вечному на небеса парит. К востоку обратясь, в восторге говорит: «Отец и царь благий, прости мне ослепленье, Кипящей юности невольно заблужденье, Прости и на меня излей своей рукой Источник разума и благости святой!» Скончал молитву он. Уж первый луч

Авроры

Блещет сквозь туман на отдаленны горы; От пурпурных лучей героев шлем горит. Зефир, спорхнув с цветов, по воздуху парит И грозное чело Ринальда лобызает; Ниспадшею росой оружие блистает, Щит крепкий, копие, железная броня Как золото горят от солнечна огня. Так роза блеклая, в час утра оживая, Красуется, слезой Аврориной блистая; Так, чешуей гордясь, весною лютый змей Вьет кольца по песку излучистой струей. Ринальд, блистанием оружия удивленный Стопами смелыми — и свыше вдохновенный — Течет в сей мрачный лес, самих героев
страх,

Но ужасов не зрит: в прохладе и тенях Там нега с тишиной, обнявшись, засыпают, Зефиры горлицей меж тростников вздыхают, И с томной сладостью журчит в кустах ручей. Там лебедь песнь поет, с ним стонет соловей,

(О, призрак волшебства и дивные мечты!)
Ручьи прохладные и нежные цветы.
Влюбленный здесь нарцисс в прозрачный
ток глядится,
Там роза, цвет любви, на терниях гордится;
Повсюду древний лес красуется, цветет,
Вид юности кора столетних лип берет,
И зелень новая растения венчает.
Роса небесная на ветвях блистает,
Из толстых коры струится светлый мед.
Любовь живет весь лес, с пернатыми поет,
Вдыхает в тростниках, журчит в ручьях
кристальных,
Несется песнями, теряясь в рощах дальных,
И тихо с ветерком порхает по цветам.
Герой велик и мудр, не верит он очам
И адским призракам в лесу очарованном.
Вдруг видит на лугу душистом и
пространном
Высокий мирт, как царь, между дерев
других.
Красуется его чело в ветвях густых,
И тень прохладная далеко вокруг ложится.
Из дуба ближнего сирена вдруг родится,
Волшебством создана. Чудесные мечты
Прияли гибкий стан и образ красоты.
Одежда у нее, поднятая узлами,
Блестит, раскинута над белыми плечами.
Сто нимф из ста деревьев внезапно родились
И все лилейными руками соплелись.
На мертвом полотне так — кистию чудесной
Изображенный — зрим под тению древесной

Лик сельских, стройных дев, собрание красот:
Играют резвые, сплетая в хоровод,
Их ризы, как туман, и перси обнажены,
Котурны на ногах, власы переплетенны.
Так лик чудесных нимф на место грозных
стрел

Златыми цитрами и арфами владел.
Одежды легкие они с рамен сложили
И с пляской, с пением героя окружили.
«О, ратник юноша, счастлив навеки ты,
Любим владычицей любви и красоты!
Давно, давно тебя супруга ожидала,
Отчаянна, одна, скиталась и стонала.
Явился — и с тобой расцвел сей дикий лес,
Чертог уныния, отчаянья и слез».
Еще нежнейший глас из мирта издается
И в душу ратника, как нектар сладкий,
льется.

В древнейши, баснями обильные века,
Когда и низкий куст и малая река
Дриаду юную иль нимфу заключали,
Столь дивных прелестей внезапно не рождали.
Но мирт раскрыл себя... О, призрак,
о, мечты!

Ринальд Армиды зрит стан, образ и черты,
К нему любовница взор страстный обращает,
Улыбка на устах, в очах слеза блистает,
Все чувства борются в пылающей груди,
Вдыхая, говорит: «Друг верный мой,
приди,

Отри рукой своей сих слез горячих реки,
Отри и сердце мне свое отдай навеки!

Ринальд разит его... И призрак вдруг
ужасный,
Гигант, чудовище явилось пред ним,
Армиды прелести исчезнули, как дым.

Сторукий исполин, покрытый чешуею,
Небес касается неистовою главою.
Горит оружие, звенит на нем броня,
Исполнена гортань и дыма и огня.
Все нимфы вокруг его циклопов вид прияли.
Щитами, копьями ужасно застучали.
Бесстрашен и велик средь ужасов герой!
Стократ волшебный мирт разит своей рукой;
Он вздротнул под мечом и стоны испускает.
Пылает мрачный лес, гром трижды ударяет.
Исчадья адские явились на земле,
И серны молнии взвились в ужасной мгле.
Ни ветер, ни огонь, ни гром не ужаснул
героя...

Упал волшебный мирт и, бездны ад закроя,
Ветр бурный усмирил и бурю в облаках,
И прежняя лазурь явилась в небесах.

ИЗ ПИСЬМА П. П. ГНЕДНЧУ

Тебя и нимфы ждут, объятья простирая,
И фавны дикие, кроталами итрая.
Придешь, и все к тебе навстречу прибегут
Из древ Гамадриады,
Из рек обмытые Наяды,
И даже сельский поп, Сатир и пьяный плут.

А если не будешь, то всё переменит вид,
всё заплачет, зарыдает:

Цветы завянут все, завоют рощи дики,
Слезами потекут кристальны ручейки,
И, резки испустив в болоте ближнем крики,
Прочь крылья наострят носасты кулики,
Печальны чибисы, умильны перепелки.
Не станут пастухи играть в свои свирелки,
Любовь и дружество — погибнет все с
тоски!

КНИГЦ И ЖУРНАЛИСТ

Крот мыши раз шепнул: «Подруга! ну,
зачем
На пыльном чердаке своем
Царапаешь, грызешь и книги раздираешь:
Ты крошки в них ума и пользы не
сбираешь?»

«Не об уме и хлопочу,
Я есть хочу».

Не знаю, впрок ли то, но эта мышь уликой
Тебе, обрызганный чернилами Арист.
Зубами ты живешь, голодный журналист.
Да нужды жить тебе не видим мы великой.

СТИХИ Г. СЕМЕНОВОЙ

E in bel cogro pù cara venia.
Тасс. V песнь „Освобожденного
Иерусалима“.

Я видел красоту, достойную венца,
Дочь добродетельну, печальну Антигону,
Опору слабую несчастного слепца;
Я видел, я внимал ее сердечну стону —
И в рубище простом почтенной нищеты
Узнал богиню красоты.
Я видел, я познал ее в Моине страстной,
Средь сонма древних бард, средь копий и
мечей:
Ее глас сладостный достиг души моей,
Ее взор пламенный, всегда с душой согласный,
Я видел — и познал небесные черты
Богини красоты.

О, дарования, одно другим венчанно! ¹
Я видел Ксению, стелящу предо мной:
Любовь и строгий долг владеют вдруг
княжной;
Боренье всех страстей в ней к ужасу слиянно,
Я видел, чувствовал душевной полнотой
И счастлив сей мечтой!

¹ Дарование поэта и актрисы.

Я видел и хвалить не смел в восторге
страстном:
Но ныне, истиной священной вдохновен,
Скажу: красот собор в ней явно соединен,
Душа небесная во образе прекрасном
И сердца доброго все редкие черты,
Без коих ничего и прелесть красоты.
Ярославль, сентября 6.

ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ВИРГИЛИЯ

Вдали от храма Муз и рощей Геликона
Феб мстительной рукой Сатира задавил;¹
 Воскрес урод и отомстил:
 Друзья, он душит Аполлона!

¹ Всем известна участь Марсия.

ЭПИГРАФЫ

Не нужны надписи для камня моего,
Скажите просто здесь: он был и нет его!

ИЗ ПИСЬМА П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Льстец моей ленивой Музы! —
Ах, какие снова узы
На меня ты наложил?
Ты мою сонливу Лету
В Иордан преобразил
И, смеясь, мне поэту
Так кадилом накадил,
Что я в сладком упоеньи,
Позабыв стихотвореньи,
Задремал и видел сон:
Будто светлый Аполлон,
И меня, шалун мой милый,
На берег реки унылой
Со стихами потащил
И в забвеньи потопил!

К МАШЕ

О, радуйся, мой друг, прекрасная Мария!
Ты прелестей полна, любви и ума,
С тобою Грации, ты Грация сама.
Пусть Парки ввек прядут тебе часы элатые!
Амур тебя благословил,
А я — как ангел говорил.

Известный откупщик Фадей
Построил богу храм... и совесть успокоил.
И впрям! На всё цены удвоил:
Дал богу медный грош, а сотни взял
рублей
С людей.

ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ

О хлеб-соль русская! о, прадед Филарет!
О, милые останки,
Упрямство дедушки и ферези прабабки!
Без вас спасенья нет!
А вы, а вы забыты нами!» —
Вчера горланил Фирс с гостями
И, сидя у меня за лакомым столом,
В восторге пламенном, как истый витязь
русский,
Съел соус, съел другой, а там сальмис
французский,
А там шампанского хлебнул с бутылку он.
А там... подвинул стул и сел играть
в бостон.

СРАВНЕНИЕ

«Какое сходство Клит с Суворовым имел?»
«Нималого!» — «Большое».

«Помилуй! Клит был трус, от выстрела робел
И пекся об одном желудке и покое;

Великий вождь вставал с зарей для ратных
дел,

А Клит спал часто по неделе».

«Всё так! да умер он, как вождь сей...

на постеле».

ИЗ АНТОЛОГИИ

Сот меда с молоком —
И Манн сын тебе навеки благосклонен!
Алкид не так-то скромн:
Дай две ему овцы, дай козу и с козлом;
Тогда он на овец прольет благословенье
И в снедь не даст волкам,
Храню к богам почтенье,
А стада не отдам
На жертвоприношенье.
По совести! Одна мне честь, —
Что волк его сожрал, что бог изволил
съесть.

ВЕЧЕР

Подражание Петрарке, Canzone

В тот час, как солнца луч потухнет за
горою,
Склонясь на посох свой дрожащею рукою,
Пастушка, дряхлая от бремени годов,
Спешит, спешит с полей под отдаленный кров
И там, пришед к огню, среди лачуги дымной
Вкушает трапезу с семьей гостеприимной,
Вкушает сладкий сон, в замену горьких слез!
А я, как солнца луч потухнет средь небес,
Один в изгнании, один с моей тоскою,
Беседую в ночи с задумчивой луною!

Когда светило дня потонет средь морей,
И ночь, угрюмая владычица теней,
Сойдет с высоких гор с отрадной тишиною,
Оратай острый плуг увовит за собою
И, медленной стопой идя под отчий кров,
Поет простую песнь — в забвенья всех
трудоу.

Супруга, рой детей оратая встречают,
И брашна сельские поспешно предлагают.
Он счастлив: я один с безмолвною тоской
Беседую в ночи с задумчивой луной.

Лишь месяц сквозь туман багряный лик
оставит

В недвижимые моря, пастух поля оставит,
Простится с нивами, с дубравой и ручьем
И гибкою лесой стада погонит в дом.
Игралище стихий среди пучины пенной,
И ты, рыбарь, спешешь на брег

уединенный!

Там, сети преклонив ко утлой ладие
(Вот все от прозных бурь убежище твое!),
При блеске молнии, при шуме непогоды
Заснул... И счастлив ты, угрюмый сын
природы!

Но се бледнеет там багряный небосклон,
И медленной стопой идут волы в загон
С холмов и пажитей, туманом орошенных.
О, песнопений мать, в вертепах отдаленных,
В изгнании горестном утеха дней моих,
О, лира, возбуди бряцаньем струн золотых
И холмы спящие, и кипарисны рощи,
Где я, печали сын, среди глубокой ночи,
Объятый трепетом, склонился на гранит...
И надо мною тень Лауры пролетит!

НА СМЕРТЬ ЛАУРЫ

Из Петрарки¹

Колонна гордая! о, лавр вечнозеленый!
Ты пал! — и я навек лишен твоих прохлад!
Ни там, где Инд живет, лучами опаленный,
Ни в хладном Севере для сердца нет отрад!

Все смерть похитила, все алчная пожрала —
Сокровище души, покой и радость с ним!
А ты, земля, вовек корысть не возвращала,
И мертвый нем лежит под камнем
гробовым!

Все тщетно пред тобой — и власть, и
волхвованья:
Таков судьбы завет! .. Почто ж мне доле
жить? ..
Увы! Чтоб повторять в час полночи рыданья
И слезы вечные на хладный камень лить!
Как сладко, жизнь, твое для смертных
обольщенье!
Я в будущем мое блаженство основал,
Там пристань видел я, покой и утешенье,
И все с Лаурою в минуту потерял!

¹ Сонет: Rotta è l'alta Collonna e 'l verde Lauro.

МАДАГАСКАРСКАЯ ПЕСНЯ

Как сладко спать в прохладной тени,
Пока долину зной палит
И ветер чуть в древесной сени
Дыханьем листья шевелит!

Приблизьтесь, жены, и, руками
Сплетяся дружно в легкий круг,
Протяжно, тихими словами
Царя возвеселите слух!

Воспойте песни мне девицы,
Плетущей сети для кошниц,
Или как, сидя у пшеницы,
Она пугает жадных птиц.

Как ваше пенье сердцу внятно,
Как негой утомляет дух!
Как, жены, издали приятно
Смотреть на ваш сплетенный круг!

Да тихи, медленны и страстны
Телодвиженья будут вновь.
Да всюду с чувствами согласны
Являют негу и любовь!

Но ветер вечерний повеваает,
Уж светлый месяц над рекой,
И нас у кущи ожидает
Постель из листьев и покой.

О, пока бесценна младость
Не умчалася стрелой,
Пей из чаши полной радость
И, сливая голос свой
В час вечерний с тихой лютней,
Славь беспечность и любовь!
А когда в сени уютной
Мы услышим смерти зов,
То, как лозы винограда
Обвивают тонкий вяз,
Так меня, моя отрада,
Обними в последний раз!
Так лилейными руками
Цепью нежною обвей,
Съедини уста с устами,
Душу в пламени излей!
И тогда тропой безвестной,
Долу, к тихим берегам,
Сам он, бог любви прелестный,
Проведет нас по цветам
В тот Элизий, где всё тает
Чувством неги и любви,
Где любовник воскресает
С новым пламенем в крови,
Где, любуясь пляской Граций,
Нимф, сплетенных в хоровод,

С Делией своей Гораций
Гимны радости поет,
Там, под тенью миртов зыбкой,
Нам любовь сплетет венцы,
И приветливой улыбкой
Встретят нежные певцы.

ПЕРЕХОД РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ НЕМАН

1 января 1813 года

Снегами погребен, угрюмый Неман спал.
Равнину льдистых вод и берег опустелый
И на берегу покинутые села
Туманный месяц сзаяя.
Всё пусто... Кое-где на снеге труп чернеет,
И брошенных костров огонь, дымяся, тлеет,
И хладный, как мертвец,
Один среди дороги,
Сидит задумчивый беглец
Недвижим, смутный взор вперив на мертвые
ноги.
И всюду тишина... И се, в пустой дали
Сгущенных колий лес возникнул из земли!
Он движется. Гремят щиты, мечи и броня.
И грозно в сумраке ночном
Чернеют знамена, и ратники, и кони:
Несут полки славян погибель за врагом,
Достигля Немана — и копыя водрузили.
Из снега возросли бесчисленные шатры,
И на берегу зажженные костры
Всё небо заревом багровым обложили.

И в стзне царь молодой
Сидел между вождями,
И старец-вождь пред ним, блестящий
сединами
И бранной в старости красой.

ПОСЛАНИЕ К А. П. ТУРГЕНЕВУ

Есть дача за Невой,
Верст двадцать от столицы,
У Выборгской границы,
Близ Парголы крутой:
Есть дача или мыза,
Приют для добрых душ,
Где добрая Элиза
И с ней почтенный муж,
С открытою душою
И с лаской на устах,
За трапезой простою
На бархатных лугах,
Без дальнего наряда,
В свой маленький приют
Друзей из Петрограда
На праздник сельский ждут.
Там муж с супругой нежной
В час отдыха от дел
Под кров свой безмятежный
Муз к Грациям привел.
Поэт, лентяй, счастливец
И тонкий философ,
Мечтает там Крылов
Под тению березы

О басенных зверях
И рвет Парнасски розы
В Приютинских лесах.
И Гнедич там мечтает
О Греческих богах,
Меж тем как замечает
Кипренский лица их
И кистию чудесной,
С беспечностью прелестной,
Вандиков ученик,
В один крылатый миг
Он пишет их портреты,
Которые от Леты
Спасли бы образцов,
Когда бы сам Крылов
И Гнедич сочиняли,
Как пишет Тянислов
Иль Балдусы писали,
Забыв и вкус и ум.
Но мы забудем шум
И суеты столицы,
Издадим колесницы,
Ударим по коням
И пустимся стрелою
В Приютину с тобою.
Согласны? — По рукам!

ПАДНУСЬ К ПОРТРЕТУ
КН. П. А. ВЯЗЕМСКОГО

Кто это, так насупя брови,
Сидит растрепанный и мрачный, как Федул?
О, чудо! Это он!.. Но кто же? Наш
Катулл,
Наш Вяземский, певец веселья и любви!

САТНЫ



Бедняга! удержишься... брось, брось писать
совсем!

Не лучше ли тебе маршировать с ружьем?
Плаксивин на слезах с ума у нас сошел:
Всё пишет, что друзей на свете не нашел!
Поверю: ведь с людьми нельзя ему ужиться,
И так не мудрено, что с ними он бранится.
Безрифмин говорит о милых, о сердцах,
Чувствительность души твердит в своих
стихах;

Но книг его — увы! — никто не покупает,
Хотя и *** в газетах выхваляет.

Глупон за деньги рад нам всякого бранить
И даже он готов поэмой уморить.

Иному в ум придет, что вкус восстанавливает:

Мы верим все ему — кругами утверждает!

Другой уже спешит нам драму написать,

За коей будем мы не плакать, а зевать.

А третий, наконец... Но можно ли

Все глупости людей в подробности
помыслить

исчислить?..

Напрасный будет труд, но в нем и пользы
нет:

Сатирую нельзя переменить нам свет.

Зачем с Глупоном мне, зачем всегда

браниться?

Он также на меня готов вооружиться.

Зачем Безрифмину бумагу не марать?

Всяк пишет для себя: зачем же не писать?

Дым славы, хоть пустой, любезен нам,
приятен;

Глас разума — увы! — к несчастью, не
внятен.

Поэты есть у нас, есть скучные врали;
Они не вверх летят, не к небу, но к земли.

Давно я сам в себе, давно уже признался,
Что в мире, в тишине мой век бы

провождался,
Когда б проклятый Феб мне не вскружил
весь ум;

Я презрел бы тогда и славы тщетный шум
И жил бы так, как хан во славном

Кашемире,
Не мысля о стихах, о музах и о лире.

Но нет... Стихи мои, без вас нельзя мне
жить,

И дня без рифм, без стоп не можно
проводить!

К несчастью моему, мне надобно признаться,
Стихи, как женщины: нам с ними ли

расстаться!..
Когда не любят нас, хотим мы презирать,
Но всё не перестаём прекрасных обожать!

ВИДЕНИЕ НА БРЕГАХ ЛЕТЫ

Ma muse sage et discrète
Sait de l'homme d'honneur distinguer le poète.

Boileau

Вчера, Бобровым утомленный,
Я спал, и видел чудный сон!
Как будто светлый Аполлон
(За что, не знаю, прогневленный)
Поэтам нашим смерть изрек.
Изрек — и все упали мертвы,
Невинны Аполлона жертвы.
Иной из них окончил век,
Сидя на чердаке высоком,
В издранном шляфоре широком.
Голоден, наг и утомлен
Упрямой рифмой к светлу небу;
Другой, в Цитеру пренесен:
Красу, умильную как Гебу,
Хотел для нас насильно — петь
И пал без чувств в конце эклоги,
Везде, о милосерды боги!
Везде пирует алчна смерть;
Косою острой быстро машет,
Богату ниву аду пашет

И губит Фебовых детей,
Как ветер осенний влак полей!
Меж тем в Элизии священном,
Лавровым лесом осененном,
Под шумом Касталийских вод
Певцов нечаянный приход
Узнал почтенный Ломоносов,
Херасков, честь и слава россов,
Честолюбивый Фебов сын,
Насмешник, грозный бич пороков,
Замысловатый Сумароков
И Мельпомены друг Княжнин.
И ты сидел в толпе избранной,
Стыдливой Грацией венчанный
Певец прелестных мечты,
Между Психей легкокрылой
И бога нежной красоты.
И ты там был, наездник хилой
Строптивя девственниц седла,
Трудолюбивый, как пчела,
Отец стихов Телемахиды!
И ты, что сотворил обиды
Венере девственной, Барков,
И ты, о мой певец незлобный,
Хемницер, в баснях бесподобный! ..
Все, словом, коих бог певцов
Венчал бессмертия лучами,
Сидели там олив в тени,
Обнявшись с прежними врагами.
Но спорили еще они
О том, о сем — и не без шума.
(И в рае, думаю, у нас

У всякого своя есть дума,
 Рассудок свой, и вкус, и глаз).
 Садилась все за пир богатый,
 Как вдруг, Маинин сын крылатый,
 Присланный вышним божеством,
 Сказал сидящим за столом:
 «Сюда, на берег тихой Леты
 Бредут покойные поэты.
 Они в реке сей погрузят
 Себя и вместе юных чад.
 Здесь опыт будет правосудный;
 Стихи и проза безрассудны
 Потонут вмиг; так Феб судил!» —
 Сказал Эрмий — и силой крик
 От ада к небу воспарил.
 «Ага!» — Фонвизин молвил братьям, —
 «Здесь будет встреча не по платьям,
 Но по заслугам и уму».
 «Да много ли», — в ответ ему
 Шептал, смеясь, Сумароков, —
 «Певцов найдется без пороков?
 Поглотит Леты всех струя,
 Поглотит всех, иль я не я!»
 «Посмотрим», — продолжал вполгласа
 Поэт, проклятый от Парнаса, —
 «Егда придут...» Но вот они!
 Подобно как в осенни дни
 Поблекши листья древесны,
 Что буря в долах разнесла —
 Так теням сим не весть числа.
 Идут толпой в ущелья тесны
 К реке забвения стихов;

Идут под бременем трудов,
 Безгласны, бледны, приступают,
 Любезных чад своих купают —
 И более не зрят в волнах.
 Но тут Минос певцам на страх,
 Старик угрюмый и курносый,
 Чинит жестокие вопросы. —
 «Кто ты, вещай?» — «Я тот поэт,
 По счастью очень плодovitый
 (Был тени маленький ответ),
 Я тот, венками роз увитый
 Поэт-Философ-Педагог,
 Который задушил Виргиля,
 Алкею окоротил крылья,
 Я здесь, *сега бо хочет бог*¹
 И долг священныя природы...»
 «Кто ж ты, болтун?» — «Я Мерзляков». —
 «Ступай и окунися в воды». —
 «Иду... во мне вся мерзнет кровь...
 Душа всего... душа природы!
 Спаси, спаси меня, любовь!
 Авось...» «Нет, нет, болтун несчастный,
 Довольно я с тобою вы!» —
 Сказал ему Эрот прекрасный,
 Который тут с Психеей был, —
 «Ступай!» — нырнул, и нет педанта.
 «Кто ты?» — спросил допросчик тень,
 Несущу связку фолианта.

¹ Полустишие, взятое из прекрасного сочинения Мерзлякова „Тень Кукова“, которое никто не понимает.

«Увы, я целу ночь и день
Писал, пишу и вечно буду
Писать; все прозой, без еров.
Невинен я; на эту груду
Смотри: здесь тысячи листов,
Священной пылью покрытых,
Печалью мелкою убитых,
И нет ера ни одного.
Да я...» — «Скорей купать его!»
Но тут явились лица новы
Из белокаменной Москвы.
Какие странные обновы!
От самых ног до головы
Обшиты платья их листьями.
Где прозой детской и стихами,
Иной кладбище, мавзолей,
Другой журнал души своей,
Другой Меланию, Эюльмису,
Глафиру, Хлою, Милитрису,
Луну, Веспера, голубков,
Баранов, кошек и котов¹
Воспел в своих стихах унылых,
На всякий лад для женщин милых
(О, век железный!). А оне
Не только в яве, но во сне
Поэтов не видали бедных.
Из этих лиц уныло-бледных
Один, причесанный в тупей,
Поэт присяжный, князь вралей,
На суд явил творенья новы.

¹ Свидетельствуюсь московскими журналами.

«Кто ты?» — «Увы, я пастушок,
 Вдыхатель, завсегда готовый;
 Вот мой венок и посошок,
 Вот мой букет цветов тафтяных,
 Вот список всех красот упрямых,
 Которыми дышал и жил,
 Которым я насильно мил.
 Вот мой Амур, моя Аглая»¹
 Сказал — и, тягостно зевая,
 Спросонья в Лету поскользнул.
 «Уф! я устал!.. Подайте стул.
 Позвольте мне, я очень слабен,
 Бессмертен я, пока вабавен».
 «Кто ж ты?» — «Я русский и поэт;
 Бегом бегу, лечу за славой.
 Мне враг чужой рассудок здравой,
 Для русских прав мой толк кривой
 И в том клянусь моей сумой».
 «Да кто же ты?» — «Жан Жак я русский,
 Расин и Юнг, и Локк я русский,
 Три драмы русских сочинил
 Для русских. Нет уж боле сил
 Писать для русских драмы слезны;
 Труды мои все бесполезны.
 Вина тому — разврат умов» —
 Сказал — в реку — и был таков.
 Тут Сафы русские печальны,

¹ Аглая, несчастная Грация, вовсе не дева, а журнал К. Шаликова.

Как бабки наши повивальны,
 Несла расплаканных детей.
 Одна, прости бот эту даму,
 Несла уродливую драму,
 Позор себе и для мужей,
 У коих сочиняют жены.
 «Вот мой Густав, герой влюбленный...»
 «Ага», — судья певиче сей, —
 «Названья этого довольно:
 Сударыня, мне очень больно,
 Что вы, забыв последний стыд,
 Убили драмою Густава.
 В реку, в реку!» О, жалкий вид!
 О, тщетная поэтов слава!
 Исчезла Сафо наших дней
 С печальной драмою своею;
 Потом и две другие дамы,
 На дам живые эпиграммы
 Нырнули в глубь туманных вод.
 «Кто ты?» — «Я — виноносный гений,
 Поэмы три да сотню од,
 Где всюду ночь, где всюду тени,
 Где рожа ржуща ружий ржот,¹
 Писал с заказа Глазунова
 Всегда на срок... Что вижу я?
 Здесь реет между вод ладья...
 А там, в разрывах черна крова,
 Урания, душа сих сфер,
 И все Титаны ледовиты,

¹ Этот стих слово в слово г. Боброва. Я ничего не хочу присвоивать.

Прозрачной мантией покрыты,
Слезят!..» Иссякнул изувер
От взора грозный Эгиды.
Один отец Телемахиды
Слова сии умел понять.
На том берегу реки забвенья
Стояли тени в изумленьи
От речи сей: «Изволь купать
Себя и всех своих уродов», —
Сказал, не слушая доводов,
Угрюмый Ада судия. —
«Да всех поглотит вас струя!..»
Но вдруг на адский берег дикий
Призрак чудесный и великий
В огромном дедовском возке
Тихонько тянется к реке.
На место клячей запряженны
Там люди в хомуты вложенны
И тянут кое-как, гужом.
За ним, как в осень трутни праздны,
Крылатым в воздухе полком,
Летят толпою тени разны
И там и сям. По слову: «Стой!»
Кивнула бледна тень главой
И вышла с кашлем из повозки.
«Кто ты?» — спросил ее Минос, —
«И кто сии?» На сей вопрос:
«Мы все с Невы поэты русски»,
Сказала тень. — «Но кто сии
Несчастливы, в клячей превращенны?»
«Сочлены юные мои.
Любовью к славе вдохновенны,

Они Пожарского поют,
И тянут старца Гермогена,
Их мысль на небеса вперенна,
Слова ж из библии берут.
Стихи их хоть немножко жестки,
Но истинно варяго-росски». —
«Да кто ты сам?» — «Я также член,
Кургановым писать учен;
Известен стал не пустяками,
Терпеньем, потом и трудами.
Я есмь зело Славенофил»,
Сказал и прѣлог растворил.
При слове сем в блаженной сени
Поэтов приподнялись тени.
Певец любовнѣя езды
Ослабил взор усмешкой блудной¹
И рек: «О, муж умом не скудный!
Обретший редки красоты
И смысл в моей Деядами,
Се ты, се ты!..» — «Слова пустые!»,
Угрюмый судия сказал
И в реку путь им показал.
К реке все двинулись толпою,
Нырjali всячески в водах,
Тот книжку потопил в струях,
Тот целу книжищу с собою.
Один, один Славенофил,
И то, повыбившись из сил,
За всю трудов своих громаду,

¹ В „Езде на остров любви“ истолкована блудная усмешка.

За твердый ум и за дела
Вкусил бессмертия награду.
Тут тень к Миносу подошла
Неряхой и в наряде странном,
В широком шлафоре издранном,
В пуху, с нечесаной главой,
С салфеткой, с книгой под рукой.
«Меня врасплох», — она сказала, —
«В обед народно смерть застала;
Но с вами я опять готов
Еще хоть сызнова отведать
Вина и адских пирогов:
Теперь же час, друзья, обедать;
Я — вам знакомый, я — Крылов!»¹
«Крылов! Крылов!», в одно вскричало
Собрание шумное духов,
И эхо глухо повторяло
Под сводом адским: «Здесь Крылов!»
«Садись сюда, приятель милый,
Здоров ли ты?» — «И так и сяк».
«Ну, что ты делал?» — «Всё пустяк;
Тянул тихонько век унылый;
Пил, сладко ел, а боле — спал.
Ну вот, Минос, мои творенья,
С собой я очень мало взял:
Комедии, стихотворенья
Да басни все...» — «Купай, купай!»
О, чудо! всплыли все, — и вскоре
Крылов, забыв житейско горе,
Пошел обедать прямо в рай.

¹ Он познакомился с духами через „Почту“.

Еще продлилось свиденье.
Но ваше длится ли терпенье
Дослушать до конца его?
Болтать, друзья, неосторожно;
Другого и обидеть можно,
А боже упаси того.

ПЕВЕЦ В БЕСЕДЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО СЛОВА

Певец

Друзья! все гости по домам!
От чтенья охмелели!
Конец и прозе и стихам
До будущей недели.
Мы здесь одни... Что делать? пить
Вино из полной чаши.
Давайте ввапуски хвалить
Славянски оды наши.

Сотрудники

Мы здесь одни... Что делать? —
пить и проч.

Певец

Сей кубок чадам древних лет!
Вам слава, наши деды!
Друзья! Почто покойных нет
Певцов среди Беседы?
Их вирши сгнили в кладовых
Иль сглоданы мышами,
Иль продают на рынке в них
Салакушку с сельдями!
Но дух отцов воскрес в сынах,

Мы все для славы дышим,
Давно здесь в прозе и стихах
Как Тредьяковский пишем.

Члены и сотрудники
Мы все для славы дышим и проч.

Певец

Чья тень парит под потолком
Над нашими главами?
За ней, пред ней... о, страх! — кругом
Поэты со стихами!
Се Тредьяковский в парике
Засаленном, с кудрями,
С Телемахидою в руке,
С Ролленем за плечами!
Почто на нас, о, муж седой!
Вперил ты грозны очи?
Мы все клялись, клялись тобой
С утра до полуночи
Писать как ты, тебе служить;
Мы все, с рассудком в споре,
Для славы будем жить и пить;
Нам по колено море!

Члены

Напьемся пьяны, музам в дань,
Так пили наши деды!
Рассудку — гибель, вкусу — брань!
Хвала, сынам Беседы!

Пусть Ломоносов был умен
И нас еще умнее,
За пьянство стал бессмертен он,
А мы его пьянее.

Члены и сотрудники
Для славы будем жить и пить и проч.

Певец

Друзья! большой бокал отцов
За лавку Главунова!
Там царство вечное стихов
Шихматова лихого!
Родного крова милый свет,
Знакомые подвалы!
Златые игры прежних лет —
Невинны мадригалы!
Что вашу прелесть заменит?
О, лавка дорогая!
Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

Члены

Там все знакомо для певцов,
Там наши дети милы!
Кладбище мирное стихов —
Бумажные могилы!
Там царство тленья и мышей,
Там Николев почтенный,
И древний прах календарей
И прах газет священный.

П е в е ц

Да здравствует Беседы царь,
Сумбур, твоя держава!
Бумажный трон твой — наш алтарь,
Пред ним обет наш — слава.
Не изменим: мы от отцов
Прияли глупость с кровью!
Сумбур! здесь сонм твоих сынов:
К тебе горим любовью!
Наш каждый писарь-славянин
Галиматьею дышит!
Бежит, предатель сих дружин —
И галлицизмы пишет.

Ч л е н ы и с о т р у д н и к и

Наш каждый писарь-славянин и проч.

П е в е ц

Тот наш, кто день и ночь кадит
И нам молебны служит!
Пусть публика его бранит,
Но он о том не тужит;
За нас стоит гора горой,
В Беседе не зевает,
Прямой сотрудник, брат прямой
И в брани помогает!

Ч л е н ы

Хвала тебе, Славенофил,
О, муж неукротимый!
Ты здесь рассудок победил

Рукой неутомимой!
О, как с наморщенным челом
В Беседе он прекрасен!
Сколь холоден перед столом
И критикам ужасен!
Упрямство в нем старинных лет.
Хвала седому деду!
Друзья! он, он родил на свет
Славянскую Беседу!

Члены и сотрудники
Друзья! он, он и проч.

Сотрудники
Он нас, сироток, вскормил!

Потемкин
Меня читать он учит.

Жикарев
Моих он «Бардов» похвалил.

Шихматов
Меня в Пиндары прочит.

Певец
Хвала тебе, о, дед седой!
Хвала и многи лета!
Ошую пусть сидит с тобой
Осьмое чудо света,

Твой сын, соперник и клевет —
 Шихматов безглагольный,
 Как ты, — Славян краса и цвет,
 Как ты, собой довольный!
 Хвала тебе, о, Шаховской,
 Холодных шуб родитель,
 Отец талантов, муж прямой,
 Ежовой покровитель! —
 Телец, упитанный у нас,
 О, ты, болван болванов!
 Хвала тебе, хвала сто раз,
 Раздутый Карабанов!
 Хвала, читателей тиран,
 Хвостов неистошимый!
 Стихи твои — как барабан,
 Для слуха нестерпимы!
 Везде с стихами тут и там,
 Везде ты волком рыщешь,
 Пускаешь притчу в тыл врагам,
 Стихами в уши свищешь.
 Ты за посланье — все встают
 И уши затыкают,
 Лишь за поэму — прочь идут,
 За оду — засыпают.
 Хвала, псаломщик наш, старик,
 Захаров-преложитель;
 Ревет он аки волк иль бык,
 Лугов пустынных житель.
 Хвала тебе, протяжный Львов,
 Ковач речений смелый!
 И Палицын, гроза чтецов,
 В Поповке поседелый!

Хвала, наш пасмурный Гервей,
Обрутанный Станевич,
И с польской музою своей,
Халуи Анастасевич!

Ч л е н ы

Друзья, сей полный ковш пивной
За здравье Соколова!
Он, право, чтец у нас лихой
И создан для Хвостова.
В его устах стихи ревут,
Как волны в уши плещут;
От грома их невольно тут
Все барыни трепещут.
Хвала, беседы сей дьячок,
Бездушный Политковский!
Жует, гнусит и вдруг стишок
Родит Славяноросский.

.....

Их груди каменной хвала!
Хвала скуле железной!

Ч л е н ы и с о т р у д н и к и

.....

Их груди каменной хвала!
Хвала скулам железным;
Но месть тому, кто нас бранит
И пишет эпиграммы,
Кто пишет так, как говорит,
Кого читают дамы.

Певец

Сей кубок мщенью! Други! в строй!
И мигом — перья в длани!
Сразить нль пасть — наш роковой
Обет в чернильной брани.
Вотще свои, о, Карамзин,
Ты издад сочиненья:
Я, я на Пинде властелин
И жажду лишь отмщенья!

Сотрудники

Вотще свои и проч.

Певец

Нет логики у нас в домах,
Грамматик не бывало;
Мы прблог в руки — гибни, враг,
С твоей дружиной вялой!
Отведай, дерзкий, что сильней —
Рассудок или мщенье;
Пришлец! Мы в родине своей,
За глупых — провиденье!
Друзья! прощанью сей стакан,
Уж свечи погасили,
Пробили зорю в барабан,
К заутрени звонили;
Пора домой, пора ко сну;
От хмеля я шатаюсь!..

Хвостов

Дай, притчу я прочту одну —
И после распрощаюсь.

Все

Ах! нет, друзья, домой, домой!
Чу... петухи пропели!
Прощай, Шишков, наш дед седой,
Прощай! мы охмелели, —
И ты нас в путь благослови!
А вы, друзья, — прощанье
В завет — и новья любви,
И нового свиданья!



**СТИХОТВОРЕНИЯ
1818—1821 ГОДОВ**



К NN

Среди трудов и важных муз,
Среди учености всемирной
Он не утратил нежный вкус;
Еще он любит голос лирный,
Еще в душе его огонь,
И сердце наслаждений просит,
И борзый Аполлонов конь
От муз его в Цитеру носит.
От пепла древнего Афин,
От гордых памятников Рима,
С развалин Трои и Солима,
Умом вселенной гражданин,
Он любит отдыхать с Эратой
Разнообразной и живой;
И часто водит нас с собой
В страны Фантазии крылатой.
Ему легко: он награжден,
Благословен, взлелеян Фебом;
Под сумрачным родился небом,
Но будто в Аттике рожден.

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ

I

В обители ничтожества унылой,
О, незабвенная! прими потоки слез,
И вопль отчаянья над хладною могилой,
И горсть, как ты, минутных роз.
Ах! тщетно все! Из вечной сени
Ничем не призовем твоей прискорбной тени;
Добычу не отдаст завистливый Аид.
Здесь онемение; всё хладно, всё молчит;
Надгробный факел мой лишь мраки
освещает...
Что, что вы сделали, властители небес?
Скажите, что краса так рано погибает!
Но ты, о, мать-земля! с сей данью горьких
слез,
Прими почившую, поблеклый цвет весенний
Прими и успокой в гостеприимной сени!

II

Свидетели любви и горести моей,
О, розы юные, слезами омоченны!
Красуйтесь в венках над хижиной смиренной,
Где милая таится от очей.

Помедлите, венки! еще не увядайте!
Но если явится, — пролейте на нее
Все благовоние свое,
И локоны ее слезами напитайте.

III

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили...
О, радость! Здесь они сей пояс разрешили
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!

IV

ЯВОР К ПРОХОЖЕМУ

Смотрите, виноград кругом меня как вьется!
Как любит мой полуистлевший пенн!
Я некогда ему давал отрадну тень;
Завял: но виноград со мной не расстается.
Зевеса умоли,
Прохожий, если ты для дружества способен,
Чтоб друг твой моему был некогда подобен,
И пепел твой любил, оставшись на земли.

V

Где слава, где краса, источник зол твоих?
Где стогны шумные и граждане счастливы?

*

Где здания пышные и храмы горделивы,
Муся, золото, сияющее в них?
Увы! погиб навек, Коринф столповенчаный!
И самый пепел твой развеян по полям.
Все пусто; мы одни взываем здесь к богам,
И стонет Алкион один в дали туманной!

VI

Куда, красавица? — За делом, не узнаешь. —
Могу ль надеяться? — Чего? — Ты понимаешь.
Не время. — Но взгляни: вот золото, считай.
— Не боле? шутишь! так прощай.

VII

Сокроем навсегда от зависти людей
Восторги пылкие и страсти упоенье.
Как сладок поцелуй в безмолвии ночей,
Как сладко тайное любви наслажденье!

VIII

В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры;
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки, вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял,
И с поцелуем, к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...
Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела,
И — слезы градом из очей!

В нас страсти жизнь младую пожирают,
И в жертву безотрадных слез,
Коварные, навеки покидают.
Но ты, прелестная, которой мне любовь
Всего — и юности и счастья дороже,
Склонись, жестокая, и я... воскресну вновь
Как был, или еще бодрее и моложе.

XI

Улыбка страстная и взор красноречивый,
В которых вся душа, как в зеркале, видна,
Сокровища мои... она
Жестоким Аргусом со мной разлучена!
Но очи страсти прозорливы.
Ревнивец злой, страшись любви очей!
Любовь мне таинство быть счастливым
открыла,
Любовь мне скажет путь к красавице моей:
Любовь тебя читать в сердцах не научила.

XII

Изнемогает жизнь в груди моей остылой;
Конец борению; увы! всему конец.
Киприда и Эрот, мучители сердец!
Услышьте голос мой последний и унылый.
Я вяну и еще мучения терплю;
Полмертвый, но сгораю.
Я вяну, но еще так пламенно люблю,
И без надежды умираю!
Так, жертву обхватив крутом,

На алтаре огонь бледнеет, умирает,
И, вспыхнув ярче пред концом,
На пепле погасает.

XIII

С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл, но с бурей вдруг предстала смерть
ужасна.
О юный плаватель, сколь жизнь твоя
прекрасна!
Вверяйся челноку, плыви!

К ТВОРЦУ „ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО“

Когда на играх Олимпийских,
В надежде радостных похвал,
Отец истории читал,
Как Грек разил вождей азийских
И силы гордых сокрушил, —
Народ, любитель шумной славы,
Забыв ристанье и забавы,
Стоял и весь вниманье был.
Но в сей толпе многонародной
Как старца слушал Фукидид,
Любимый отрок Аонид,
Надежда крови благородной!
С какою жаждою внимал
Отцов деянья знамениты,
И на горящие ланиты
Какие слезы проливал!

И я так плакал в восхищеньи,
Когда скрижаль твою читал,
И гений твой благословляя
В глубоком, сладком умиленьи
Пускай талант не мой удел,
Но я для муз дышал недаром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел.

ПОДРАЖАНИЕ АРИОСТУ

La virginella e simile alla rosa

Девушка юная подобна розе нежной,
Взделанной весной под сению надежной;
Ни стадо алчное, ни взоры пастухов
Не знают тайного сокровища лугов;
Но ветер сладостный, но рощи благовонны,
Земля и небеса прекрасной благосклонны.

Ты пробуждаешься, о, Байя, из гробницы
При появлении Аврориных лучей,
Но не отдаст тебе багряная денница
Сияния протекших дней,
Не возвратит убежищей прохлады,
Где нежились рои красот,
И никогда твои порфирны колоннады
Со дна не встанут синих вод!

Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском берегу.
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца моего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю.
Их выразить душа не знает стройных слов
И как молчать об них не знаю.

Шуми же ты, шуми, огромный океан!
Развалины на прахе строит
Минутный человек, сей суетный тиран,
Но море чем себе присвоит?
Трудися, созидай громады кораблей...

.

НАДПИСЬ ДЛЯ ГРОБНИЦЫ ДОЧЕРИ
МАЛЫШЕВОЙ

О! милый гость из отческой земли!
Молю тебя: заметь сей памятник безвестный:
Здесь мать и отец надежду погребли,
Здесь я покоюся, младенец их прелестный.
Им молви от меня: «Не сетуйте, друзья!
Моя завидна скоротечность;
Не знала жизни я,
И знаю вечность».

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

I

Без смерти жизнь не жизнь: и что она?
Сосуд,

Где капля меду средь полыни:
Величествен сей понт! Лазурный царь
пустыни,
О, солнце! чудно ты среди небесных чуд!

И на земле прекрасного столь много!
Но все поддельное иль втуне серебро:
Плачь, смертный! плачь! Твое добро
В руке у Немезиды строгой!

II

Скалы чувствительны к свирели;
Верблюды прислушивать умеет песнь любви,
Стеня под бременем; румянее крови —
Ты видишь — розы покраснели
В долине Иемена от песней соловья...
А ты, красавица... Не постигаю я.

III

Взгляни: сей кипарис, как наша степь,
бесплоден —
Но свеж и зелен он всегда.
Не можешь, гражданин, как пальма, дать
плода?

Жуковский, время все проглотит,
Тебя, меня и славы дым,
Но то, что в сердце мы храним,
В реке забвенья не потопит!
Нет смерти сердцу, нет ее!
Доколь оно для блага дышит!
А чем исполнено твое,
И сам Плетаев не опишет.

Ты знаешь, что изрек,
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?
Рабом рождается человек,
Рабом в могилу ляжет,
И смерть ему едва ли скажет,
Зачем он шел долиной чудной слез,
Страдал, рыдал, терпел, исчез.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сборник стихотворений Батюшкова вышел в свет в октябре 1817 г. в качестве второго тома «Опытов в стихах и в прозе». Сборнику было предпослано предисловие издателя (Н. И. Гнедича):

«Мы должны предупредить любителей словесности, что большая часть сих стихотворений была написана прежде Опытов в прозе, в разные времена, посреди шума лагерей или в краткие отдохновения война: но назначать время, когда и где что было написано, мы не почли за нужное. Издатель надеется, что читатели сами легко отличат последние произведения от первых и найдут в них большую зрелость в мыслях и строгость в выборе предметов».

В 1834 г. появилось второе, дополненное Гнедичем издание стихотворений Батюшкова.

В нашем издании «Опыты» перепечатываются по изданию 1817 г. со следующими изменениями: внесены в текст исправления, сделанные Батюшковым, и три стихотворения, напечатанные в конце сборника по той причине, что они были досланы уже тогда, когда начало книги было отпечатано, отнесены на свои места, в отдел элегий.

Эпиграф к «Опытam» заимствован из пер-
вых стихов книги Овидия «Tristia».

Перевод: «Иди, хоть и не прибранная...»
(обращение к собственной книге).

ОПЫТЫ В СТИХАХ

Э л е г и и

К д р у з ь я м. Помещено в «Опытах» как
предисловие к этому сборнику.

Дедал — лабиринт (по имени легендарного
строителя лабиринта на о. Крите). *Пафос* —
любовь (по названию мифического города,
посвященного богине любви Венере). *Пинд*,
так же как *Геликон* и *Парнас* — поэтиче-
ское вдохновенье (аллегория, связанная с ми-
фом о пребывании в этих горах бога ис-
кусств, Аполлона).

У м и р а ю щ и й Т а с с о. Написано в 1817 г.
Эпиграфом Батюшков выбрал приведенный
в курсе истории литературы Южной Ев-
ропы Сисмонди отрывок из трагедии Тассо
«Торрисмондо»: «Как альпийский быстрый
поток, как вспыхнувшая молния в потем-
невшем небе, как ветер или пар, или лету-
чая стрела, наша слава исчезает и всякая
ичесть подобна увядающему цветку. На
что еще надеяться, чего еще ждать? После
триумфа и пальмовых ветвей душе остается

только печаль, жалобы и слезы. К чему дружба, к чему любовь. О слезы, о скорбь».

Эту элегию Батюшков предполагал поместить в начале своих «Опытов» «вместо портрета». Однако он не успел закончить и переслать ее Гнедичу своевременно, и элегия была напечатана в конце книги. В издании 1834 г. Гнедич, согласно желанию Батюшкова, поместил ее на первом месте.

Стихотворение было сопровождено обширным примечанием Батюшкова, излагающим обстоятельства смерти Тассо:

«Не одна история, но живопись и поэзия неоднократно изображали бедствия Тасса. Жизнь его, конечно, известна любителям словесности: мы напомним только о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой элегии.

«Т. Тасс приписал свой «Иерусалим» Альфонсу, герцогу Феррарскому (o magnanimo Alfonso!..¹); и великодушный покровитель, без вины, без суда, заключил его в больницу С. Анны, т. е. дом сумасшедших. Там его видел Монтань, путешествовавший по Италии в 1580 году. Странное свидание в таком месте первого мудреца времен новейших с величайшим стихотворцем!.. Но вот что Монтань пишет в Опытах: «Я смотрел на Тасса еще с большею досадою, нежели сожалением; он пережил себя; не уз-

¹ О великодушный Альфонс! .

навал ни себя, ни творений своих. Они без его ведома, но при нем, но почти в глазах его, напечатаны неисправно, безобразно». — Тасс, к дополнению несчастья, не был совершенно сумасшедший, и, в ясные минуты рассудка, чувствовал всю горечь своего положения. Воображение, главная пружина его таланта и злополучий, нигде ему не изменяло. И в узах он сочинял бесперестанно. Наконец, по усиленным просьбам всей Италии, почти всей просвещенной Европы, Тасс был освобожден. (Заключение его продолжалось семь лет, два месяца и несколько дней.) Но он не долго наслаждался свободою. Мрачные воспоминания, нищета, вечная зависимость от людей жестоких, измена друзей, несправедливость критиков; одним словом, все горести, все бедствия, какими только может быть обременен человек, разрушили его крепкое сложение и привели по терниям к ранней могиле. Фортуна, коварная до конца, приготовляя последний решительный удар, осыпала цветами свою жертву. Папа Климент VIII, убежденный просьбами кардинала Цинтио, племянника своего, убежденный общенародным голосом всей Италии, назначил ему триумф в Капитолии; «Я вам предлагаю венок лавровый, сказал ему папа, не он прославит вас, но вы его!» Со времен Петрарка (во всех отношениях счастливейшего стихотворца Италии), Рим не видал подобного торжества.

Жители его, жители окрестных городов желали присутствовать при венчании Тасса. Дождливое осеннее время и слабость здоровья стихотворца заставили отложить торжество до будущей весны. В апреле все было готово, но болезнь усилилась. Тасс велел перенести себя в монастырь Св. Онуфрия; и там — окруженный друзьями и братией мирной обители, на одре мучения, ожидал кончины. К несчастью, вернейший его приятель Константино не был при нем, и умирающий написал к нему сии строки, в которых, как в зеркале, видна вся душа певца Иерусалима: «Что скажет мой Константино, когда узнает о кончине своего милого Торквато? Не замедлит дойти к нему эта весть. Я чувствую приближение смерти. Никакое лекарство не излечит моей новой болезни. Она совокупилась с другими недугами и, как быстрый поток, увлекает меня... Поздно теперь жаловаться на фортуны, всегда враждебную (не хочу упоминать о неблагодарности людей!). Фортуна торжествует! Нищим я доведен ею до гроба, в то время как надеялся, что слава, приобретенная наперекор врагам моим, не будет для меня совершенно бесполезною. Я велел перенести себя в монастырь Св. Онуфрия не потому единственно, что врачи одобряют его воздух, но для того, чтобы на сем возвышенном месте, в беседе святых отшельников, начать мои беседы с небом. Молись богу за меня, ми-

мый друг, и будь уверен, что я, любя и уважая тебя в сей жизни и в будущей — которая есть настоящая — не премину всё совершить, чего требует истинная, чистая любовь к ближнему. Поручаю тебя благодати небесной, и себя поручаю. Прости! — Рим. — Св. Онуфрий». — Тасс умер 10 апреля на пятьдесят первом году,¹ исполнив долг христианский с истинным благочестием.

«Весь Рим оплакивал его. Кардинал Цинтио был неутешен и желал великолепием похорон вознаградить утрату триумфа. По его приказанию, — говорит Жингене в «Истории литературы италянкой», — тело Тассово было облечено в римскую тогу, увенчано лаврами и выставлено всенародно. Двор, оба дома кардиналов Альдобрандини и народ многочисленный провожали его по улицам Рима. Толпились, чтобы взглянуть еще раз на того, которого гений прославил свое столетие, прославил Италию и который столь дорого купил поздне, печальные почести!..

«Кардинал Цинтио (или Чинцио) объявил Риму, что воздвигнет поэту великолепную гробницу. Два оратора приготовили надгробные речи, одну латинскую, другую италянскую. Молодые стихотворцы сочиняли стихи и надписи для сего памятника. Но горесть кардинала была непродолжительна, и па-

¹ 1595 г. (в действительности не 10 го, а 25 апреля). Род. в 1544 г., 11 марта (следовательно, умер на 52 году).

мятник не был воздвигнут. В обители Св. Онуфрия смиренная братия показывает и поныне путешественнику простой камень с этой надписью: *Torquati Tassi ossa his jacent.*¹ Она красноречива.

«Да не оскорбится тень великого стихотворца, что сын утрюмого севера, обязанный «Иерусалиму» лучшими, сладостными минутами в жизни, осмелился принести скудную горсть цветов в ее воспоминание!»

Интерес к Тассо как автору «Освобожденного Иерусалима», оказавшего равное влияние как на классическую, так и на романтическую поэму, соединялся с интересом к его личной биографии; образ страдающего поэта вошел в литературу особенно у романтиков («Торквато Тассо» Гете, 1790, «Жалобы Тассо» Байрона, 1817, и пр.).

В элегии описывается подготовка к торжественному венчанию Тассо в Капитолии в Риме. Речь Тассо — центральная часть элегии — составлена отчасти из мотивов поэзии Тассо, отчасти из упоминаний фактов его биографии. Здесь же вводятся мотивы древнего исторического Рима («Квириты» — граждане древнего Рима, исторические развалины и т. д.).

Младенцем был уже изгнанник. Тассо в детстве должен был последовать в изгнание за своим отцом. Асканий — сын Энея, по-

¹ Здесь покоится прах Торквато Тассо.

терявший мать, Креузу, ночью во время бегства из разрушенной Трои (эпизод из «Энеиды» Виргилия). Сравнение заимствовано из канцоны Тассо; мать Тассо умерла, когда ему было 10 лет. *Альфонс* — герцог Феррары, при дворе которого находился Тассо. Альфонс преследовал Тассо и держал его семь лет в заточении в сумасшедшем доме. *Сион и Ливан* — горы, *Иордан и Кедрон* — реки Палестины, где происходит действие «Освобожденного Иерусалима». *Готфред, Ринальд* — герои той же поэмы. *Элеонора* — сестра Альфонса Феррарского, в которую был влюблен Тассо, что и считалось причиной преследований его со стороны Альфонса.

Надежда. Впервые в «Опытах» 1817 г. Своей философской темой элегия примыкает к статье Батюшкова «Нечто о морали, основанной на философии и религии» (1815) и, повидимому, написана одновременно.

На развалинах замка в Швеции. Напечатано в 1814 г. Написано под впечатлением проезда через Швецию летом 1814 года. Швеция того времени еще не оправилась от войны с Наполеоном (коалиция 1805 г.), окончившейся ее поражением. Современное положение Швеции поэт противопоставляет былой славе ее героев — скальдов.

По скандинавской мифологии: *Оден* (французское произношение «Один») — бог, властитель мира, *Нейстрия* — древнее название Франции, *Альбион* — древнее название Англии, *Валкала*, или *Валгала* — обиталище богов, *Гела* — богиня войны.

Элегия из Тибулла. Напечатано в 1815 г. Оригиналом перевода является 3-я элегия 1-й книги стихотворений Тибулла (I в. до н. э.), римского элегического поэта, главной темой которого являлась любовь.

Мессала — Валерий Мессала Корвин (р. в 64 г. до н. э., ум. в 9 г. н. э.), политический деятель древнего Рима, сперва сражался под начальством Брута и Кассия, затем перешел на сторону Октавия Августа. В 31 г. был консулом. Покровитель Тибулла и др. поэтов. Элегия относится к 30 г. до н. э., когда Мессала отправился в Азию. Тибулл сопровождал его, но по болезни остался на острове Корфу. *Фсакия* или *Коркира* — древнее название острова Корфу. *Делия* — под этим именем Тибулл воспевал свою любовницу Планию. *День, Сатурну посвященный* — суббота. *Фарийские жрицы* — египетские. *Мегера* и *Тизифона* — Эриннии, богини мщения. *Энкелад*, *Тифий*, *Иксион*, *Тантал*, *Данаиды* — имена гигантов и людей, которые, согласно мифам греков, вызвали гнев богов и подверглись в аду разным казням.

Воспоминание. Напечатано в 1809 г. Гейльсбергские поля — Восточная Пруссия близ г. Гейльсберга, где происходили в 1807 г. сражения с наполеоновскими войсками. Там Батюшков был ранен. Аль — Алле, река, на берегу которой находится Гейльсберг.

Воспоминания, отрывок. Напечатан в «Опытах» 1817 г. В рукописи Батюшкова имеются примечания к стихотворению: «Жувизи — замок близ Парижа. Ричмон — прекрасный городок в окрестностях Лондона, напротив жилища Попе. Путешественники никогда не забудут террасы и пленительных видов Ричмона. Троллетана — водопад близ Готтенбурга на западном берегу Швеции». Сейна — река Сена.

Выздоровление. Напечатано в «Опытах» 1817 г.

Эреб — часть подземного жилища мертвых (Орковы поля, где протекает река забвения Лета).

Мщение. Напечатано в 1816 г. Является свободным переводом элегии Парни *Toi, qu'importune ma présence* (Элегия IX, кн. IV).

Привидение. Напечатано в 1810 г. Является вольным переводом элегии Парни «*Levenant*» (Элегия, кн. I).

Коцит — река в царстве мертвых.

Тибуллова элегия III. Напечатано в 1809 г. Является вольным переводом 3-й элегии III книги элегий, приписываемых Тибуллу (на самом деле принадлежит другому поэту того же литературного круга).

Где всё один порфир Тенара и Кариста — драгоценный строительный камень с мыса Тенара в Лаконике и из города Кариста, с острова Эвбея. *Эритрские жемчужины* — добываемые в Эритрейском море (так древние называли Персидский залив в Аравийском море). *И руны Тирские* — овечья шерсть. *Золото блестящего Пактола* — добываемое в реке Пактол, в Малой Азии. *Дочь Сатурнова* — Юнона, покровительница брака.

Мой гений. Напечатано в 1816 г. Выражение «память сердца» употреблено поэтом в его статье «О лучших свойствах сердца» (1815), как принадлежащее Массье (1772—1846), известному французскому педагогу-глухонемому. Философские нравоучительные афоризмы Массье были известны из статей о нем.

Дружество. Напечатано в 1812 г. с подзаголовком «Из Биона». Является переделкой идилии греческого поэта Биона (II в. до н. в.).

В стихотворении перечислены классические примеры дружбы: *Тевей*, древнегреческий ге-

рой и его друг Пирифой, по мифологическим сказаниям отправившийся в ад для похищения Прозерпины, но в наказание прикованный к адской скале; *Орест* (сын Атридов) и *Пилал*, друзья, спасавшие друг друга от угрожавшего им гнева богов; *Ахилл*, герой Троянской войны, убивший троянского вождя Гектора, мстя за смерть своего друга Патрокла, и вскоре убитый Аполлоном, покровителем троянцев.

Тень друга. Напечатано в 1816 г. Эпитаф из элегии «Тень Цинтии» Проперция (римский поэт-элегик I в. до н. э.): «Души умерших составляют нечто; смерть не всё прекращает, бледная тень улетает из побежденного костра». Стихотворение написано под впечатлением морского путешествия Батюшкова из Англии в Швецию в 1814 г.

Гальциона — чайка (по мифологическим представлениям — женщина, превращенная в морскую птицу). *Погибший в роковом огне* — друг Батюшкова Петин Иван Александрович, убитый в 1813 г. под Лейпцигом (на реке Плейссе) в знаменитой «битве народов». Ему Батюшков посвятил статью «Воспоминание о Петине» (1815 г.). *Беллона* — богиня войны у древних римлян.

Тибуллова элегия X. Напечатана в 1810 г. Является вольным переводом эле-

гии Тибулла «*Quis fuit*» и т. д. (X элегия первой книги). Эта элегия написана одновременно с 3-й, тоже переведенной Батюшковым.

Церерины дары — урожай с полей и садов (Церера — богиня плодородия). *Где лает адский пес, где Фурии свирепы* — в подземном царстве, которое сторожит у входа трехголовый лающий пес Цербер и где обитают богини мщения Фурии. *И кормчий в челноке на Стиксовых водах* — перевозчик Харон переправлял души умерших через реку в царство мертвых. *Ливия* — условное имя. В латинском оригинале просто «женщина».

Веселый час. Напечатано в 1806 г.

В день рождения N. Напечатано в 1810 г.

Пробуждение. Напечатано в 1816 г.

Разлука. Напечатано в 1816 г.

В стране, где Тирас бьет излучистой струей, сверкая между гор, Цецерой позлащенных — имеется в виду холмистая Каменец-Подольская губ. (с рекой Днестром), где Батюшков провел в 1815 г. несколько месяцев. Тирас — греческое название Днестра.

Таврида. Напечатано в «Опытах» 1817 г. Одна из самых популярных элегий Батюшкова, за которую именовали его «певцом Тавриды». Написана в связи с предпологававшейся поездкой Батюшкова в Крым.

Пальмира севера — Петербург (Пальмира — древний город в Сирии, отличавшийся сказочным богатством и роскошью). *Водолей* — январь (по знаку Зодиака).

Судьба Одиссея. Напечатано в «Опытах» 1817 г. Стихотворение является вольным переводом гекзаметров Шиллера «Одиссеей». Образ скитальца Одиссея привлек Батюшкова близостью к его собственной судьбе (в письмах к друзьям из-за границы он часто называет себя Одиссеем). В стихотворении имеются в виду XI, XII и XIII песни «Одиссеи» Гомера.

Стопой бестрепетной сходя в Аида мраки — Одиссей посещает царство мертвых (песнь XI). *Харибды яростной, подводной Сциллы стон* — Одиссей плывет узким проливом между ужасно лающей Сциллой и пожирающей всё живое Харибдой — двумя скалами-чудовищами и едва спасается от смерти (песнь XII). *Проснулся он: и что ж? отцивны не познал* — корабль Одиссея приближается к Итаке и Одиссея сонного выносят на берег, Афина покрывает все туманом

и проснувшийся Одиссей не узнает своего родного острова (песнь XIII).

П о с л е д н я я в е с н а. Написано не позднее декабря 1815 г. Стихотворение является подражанием чрезвычайно популярной элегии Мильвуа «Падение листьев». В своей элегии Батюшков заменил осень весной, в остальном придерживался подлинника.

Филомела — соловей. *Эпидавр* — место, где находился храм бога врачевания Эскулапа.

К Г-ч у. Написано в 1806 г. Обращено к ближайшему другу Батюшкова — Гнедичу Николаю Ивановичу (1784—1833) — поэту, знаменитому переводчику «Илиады». См. вступительную статью.

К Д-в у. Напечатано в 1813 г. Обращено к Дашкову Дмитрию Васильевичу (1788—1839), литератору, одному из активнейших участников «Арзамаса», дипломату, позднее видному государственному деятелю. Стихотворение связано с событиями 1812 г. Батюшков несколько раз посещал сгоревшую Москву.

Пока с израненным героем — речь идет о генерале А. Н. Бахметеве (1774—1841), раненном в Бородинском сражении. Батюшков был назначен к нему в адъютанты, но рана помешала Бахметеву опять отправиться в армию.

Источник. Написано в 1810 г. Является подражанием идиллии в прозе Парни «Поток. Персидская идиллия».

На смерть супруги К-на. Написано в 1811 г. Варвара Ивановна, первая супруга театрального деятеля и переводчика Кокошкина — умерла 25 апреля 1811 года. Эпиграф из X сонета Петрарки (Сонет после смерти Лауры): «В возрасте самом прекрасном, самом цветущем, живая и прекрасная ушла на небо».

Гимен или Гименей — бог браков.

Пленный. Напечатано в 1814 г. По указанию Пушкина стихотворение подсказано эпизодом с братом знаменитого поэта-партизана Давыдова. Л. В. Давыдов в плену у французов говорил: «Верните мне мои морозы».

Гезиод и Омир соперники. Напечатано в «Опытах» 1817 г. Является переводом элегии Мильвуа «Состязание Гомера и Гезиода». Элегия посвящена Алексею Николаевичу Оленину (1763—1843). См. вступительную статью. Элегия сопровождалась следующим примечанием:

«Эта элегия переведена из Мильвуа, одного из лучших французских стихотворцев нашего времени. Он скончался в прошлом

годе, в цветущей молодости.¹ Французские музы долго будут оплакивать преждевременную его кончину: истинные таланты ныне редки в отечестве Расина.

«Многие писатели утверждали, что Омир и Гезиод были современники: некоторые сомневаются, а иные и совершенно оспаривают это предположение. Отец Гезиодов, как видно из поэмы «Труды и Дни», жил в Кумах, откуда он перешел в Аскрею, город в Беотии, у подошвы горы Геликона: там родился Гезиод. Музы, говорит он в начале «Феогонии», нашли его на Геликоне и обрекли себе. Он сам упоминает о победе своей в песнопении. Архидамий, царь Евбейский, умирая, завещал, чтобы в день смерти его ежегодно совершались погребальные игры. Дети исполнили завещание родителя, и Гезиод был победителем в песнопении. — Плутарх в сочинении своем «Пир Семи Мудрецов» заставляет рассказывать Периандра о состязании Омира с Гезиодом. Последний остался победителем и, в знак благодарности музам, посвятил им треножник, полученный в награду. — Жрица Дельфийская предвещала Гезиоду кончину его; предвещание сбылось. Молодые люди, полагая, что Гезиод соблазнил сестру их, убили его на берегах Евбеи, посвященных Юпитеру Немейскому.

¹ Мильвуа род. в 1782 г., умер 12 августа 1816 г.

«Кажется не нужно говорить об Омире. Кто не знает, что первый в мире поэт был слеп и нищий?»

«Нам музы дорого таланты продают!»

Халкида — город на острове Эвбее. *Лоно Фетиды* — море (Фетида — морская богиня). *Еллады сыны* — народы Греции. *Певец Аскрея* — Гезиод, родиной которого был греческий город Аскрея в Беотии, близ Геликона. *Мелес* или *Мелет* — река близ Смирны, у истоков которой, в гроте, будто бы создавал свои поэмы Гомер. *Темпейская долина* — глубокое ущелье между горами Олимп и Оссой, славившееся своей красотой и плодородием. *Нежны дочери суровой Мнемозины* — музы, мать которых богиня памяти Мнемозина изображалась всегда задумчивой и суровой. *Плачевный Эреб* — местопребывание бога подземного царства Плутона. *Тенар* — пещера и пропасть, считавшиеся входом в подземное царство. *Труды и дни* — поэма Гезиода. *На синем Стримоне* — река на границе Македонии. *Сладчайший Ольмия благоухает мед* — мед с мыса Ольмии в Коринфии. *Эвбеи берегов* — скалистые берега Беотии в Греции. *Гиады* — нимфы дождя.

К другу. Написано в 1817 г. Стихотворение обращено к поэту и критику Петру Андреевичу Вяземскому (1792—1878). Батюшков вспоминает погибший в 1812 году

московский дом Вяземского и в связи с этим развивает тему непрочности всего на земле и вечной веры в прекрасное.

Фалерн — знаменитое в древности фалернское вино (здесь в значении вино вообще). *Веспер* — вечерняя звезда, Венера. *Клия*, или *Клио* — муза истории. *Мой гений в горести светильник погасал* — т. е. «я умирал» (у древних гений, погашающий светильник, вестник смерти).

Мечта. Напечатано в 1806 г. В очерке «Из писем русского офицера о Финляндии» (1808) Батюшков цитирует отрывок из элегии, развивающий героико-фантастическую тему прошлого Финляндии. В «Опытах» стихотворение появилось в сильно переработанном виде.

Иль в Муромских лесах задумчиво блуждаешь, т. е. вспоминаешь русские фантастические сказки, местом действия которых являются Муромские леса. *Воклюз* — источник и селение недалеко от Авиньона (Франция). Там прожил 16 лет знаменитый итальянский поэт Петрарка (1304—1374). В своих сонетах он воспел живописные окрестности Воклюза. *Сельмские леса* — местопребывание Фингала, царя морвенского, шотландского барда Оссиана (под его именем выпустил свои пользовавшиеся колоссальной популярностью поэмы шотландский поэт Макферсон (1736—1796). *Оскар* — сын

барда *Оссиана*. *Кромла* — гора в Морвене. *Скальды* — поэты-певцы древней Скандинавии. *Иснель* — скандинавский герой поэмы Парни «Иснель и Аслега». *Валкирии* — по скандинавской мифологии прекрасные девы, дочери бога Одина. Они участвуют в боях и уносят души павших героев в Валгалу. *Биармия* — по скандинавским легендам северная страна у Белого моря. *Анакреон* — во Франции и в России в конце XVIII и в начале XIX вв. была весьма распространена «анакреонтическая лирика», воспеваящая любовь, радость, пиры. Лирика эта была подражанием греческим стихотворениям александрийской поры, в свою очередь являвшихся подражанием Анакреону (VI в. до н. э.; собственные произведения Анакреона дошли до нас только в отрывках). *Любовница Фаона* — греческая поэтесса Сафо (VII—VI в. до н. э.). См. «Ответ Т-ву», ср. «Мадригал новой Сафе». *Гораций* (65—8 г. до н. э.) — знаменитый римский лирик (воспевавший любовь и веселье); он жил в Тибуре, близ Рима, в имении, подаренном ему Меценатом. В лирике Горация воспета его возлюбленная *Глицерия*.

Переход через Рейн. Как явствует из письма Батюшкова Вяземскому 4 марта 1817 г., «Переход через Рейн», написанный в 1814 г., оставался новинкой для других

до 1817 г. Повидимому, стихотворение было среди тех элегий, которые Батюшков посылал Гнедичу после того, как состав «Опытов» был определен («Гезиод и Омир», «Умирающий Тасс», «Беседка Муз»). Одно лишь стихотворение из этой группы («Гезиод и Омир») было прислано своевременно и попало в отдел «Элегий», три остальных напечатаны в самом конце книги. Только этим можно объяснить, почему два стихотворения совершенно одинакового жанра («Переход через Рейн» и «На развалинах замка в Швеции») попали одно в отдел «Элегий», другое в отдел «Смеси». Из этих соображений в настоящем издании «Переход через Рейн» помещен в отдел «Элегий».

В стихотворении говорится о переходе русских войск через Рейн 2 января 1814 г. Перечисляя исторические события, Батюшков говорит в третьей строфе о победе Юлия Цезаря над германскими племенами вблизи от Рейна под Безансоном в 57 г. до нашей эры. Далее говорится о феодализме средних веков, после чего в строфе шестой Батюшков обращается к более ранней эпохе, вспоминая древних галльских певцов-бардов. Здесь же упоминаются древние германские («Тевтонские») певцы.

Лики — хоры. Следующие строфы посвящены нашествию Наполеона («Новый Аттила») в Россию и кампании 1812—1814 гг. Ангел мирный, свозарный —

Елизавета Алексеевна, жена Александра I. *Зарейнские сыны* — французы (Рейн является приблизительной границей между немцами и французами). *Вино из синих хрусталей* — рейнвейнское вино, которое пьют из бокалов цветного стекла. В следующей строфе Батюшков перечисляет различные места России, среди которых и река Улео (Северная Финляндия). *Маккавеи* — руководители патриотической войны, по имени Национальных еврейских вождей, боровшихся против сирийского царя Антиоха (II в. до н. э.).

Беседка муз. Стихотворение написано в 1817 г. и прислано Гнедичу в мае, когда «Опыты» уже печатались. Батюшков писал: «Посылаю еще безделку. Помести в элегиях». Однако раздел элегий был уже напечатан и Гнедич поместил это стихотворение в самом конце книги, как заключительное. Переиздавая «Опыты» в 1834 г., Гнедич исправил это, поместив «Беседку муз» в конце раздела «Элегии».

Послания

Мои пенаты. Написано в 1811 г. Послание адресовано Вяземскому и Жуковскому. Тема подсказана многочисленными образцами («Монастырь» Грессе, «Моим богам пенатам» Берниса и др.).

Пенаты и Лары — боги домашнего очага. *Пермесские богини* — музы. *Рухлая скудель* — непрочная глиняная посуда. *Аония*, или *Беотия*, — часть древней Греции, где находился Геликон. В Беотии был учрежден культ муз; она же является родиной поэтов Гезиода, Пиндара и Коринны. *Стигийские берега* — берега Стикса, реки в подземном царстве мертвых. *Парнасский исполин* — поэт Державин; Батюшков отмечает в его творчестве соединение интимной лирики («Лиры») с высокой («Труба») и называет за его торжественные оды — Пиндаром (знаменитый греческий поэт VI—V вв. до н. э.), а за дружеские послания — Горацием (см. выше). Державин в своей оде «Водопад» воспел Кивач на р. Суне (Карелия). Карамзин пишет о Платоне в «Афинской жизни», об Агатоне — в «Цветке на гроб моего Агатона». *Наслажденья храм* — очевидно, имеется в виду «Разговор о счастье». *То древню Русь и нравы* — речь идет «О случаях и характерах в Российской истории» (все перечисленные произведения Карамзина в книге его «Смесь»). *Сильф* — в повериях средних веков у ирландцев и других народов фантастическое существо, дух, мечтательный и шаловливый. Здесь Сильф прекрасный — И. Богданович (1743—1803), автор «Душеньки». *Мелецкий-Нелединский* (1752—1828) — автор песенок и стихотворений,

воспевающих любовь и наслаждения. *Федр* — римский баснописец (I в. н. э.) *Пильпай* (правильнее Бидпай) — легендарный индусский баснописец, упоминаемый в сборниках басен «Калила и Димна» и «Панчатантра». *Беседня со зверями* — поэт Дмитриев (1760—1837) писал басни. «Скрыл истину» — т. е. представил нравоучение в аллегорической форме поэтических басен. Имя Дмитриева как баснописца ставится Батюшковым на первое место, перед Ив. Крыловым и Хемницером. *Пиериды* — музык. *Аристиппов внук* — так Батюшков называет Вяземского за его лирику, воспевающую вино и веселье (греческий философ Аристипп IV в. до н. э. проповедовал наслаждение жизнью). *Наемные лики* — хор, отпевающий покойника.

Послание к Г. В-му. Написано в 1809 г. Обращено к графу Виельгорскому Михаилу Юрьевичу (1788—1856), композитору и музыканту. Поэт познакомился с Виельгорским в 1807 г. в Риге; впечатлениям этой встречи и посвящено послание.

Послание к Т-ву. Напечатано в 1816 г. Обращено к Тургеневу Александру Ивановичу (1784—1845), одному из «арзамасцев», знаменитому своим покровительством литературной молодежи, а также по

доброте своей ходатаю по разным делам. Послание является частью письма от 14 октября 1816 г., в котором Батюшков просит за вдову убитого на войне Попова, безуспешно хлопотавшую о помощи в «сословии призрения разоренных неприятелем».

О ты, который средь обедов — Тургенев славился как любитель вкусной и обильной еды. *О ты, который при дворе* — Тургенев занимал крупный служебный пост (директор департамента духовных дел).

Ответ Г-чу. Написано в 1809 г. Обращено к Гнедичу (см. статью) и является ответом на послание Гнедича «К Батюшкову» (Когда придешь в мою ты хату).

Сабинский домик — здесь в значении тихой, уединенной жизни (в Сабинах, своем имении, жил Гораций).

К Ж-му. Написано в 1812 г. Обращено к Жуковскому Василию Андреевичу (1783—1852), знаменитому поэту и переводчику.

Белёв — город в Тульской губ., близ которого находилось имение Жуковского. *Амальтеи рог* — рог изобилия; рог козы Амальтеи, которому Юпитер придал чудесное свойство доставлять всё, чего пожелают, в любом количестве (обычно подра-

зумевається съестное). *Гиппократ* — врач (по имени греческого врача V в. до н. э.). *Коцит* — река в подземном царстве мертвых. «*Усопший! Мир с тобою*» — стихи из баллады Жуковского «Громобой». *Свистов* — Хвостов (1757—1835) — весьма плодовитый, но бездарный стихотворец. *Его покорный бес* — имеется в виду рассказ о Хвостове, «водившемся с бесом». В стихотворной сказке А. Измайлова «Стихотворец и чорт» рассказывается, как Хвостов за неимением другого слушателя мучает чорта чтением своих стихов.

О т в е т Т-ву. Напечатано в «Опытах» 1817 г. Адресовано к Тургеневу Ал. Ив. (см. «Послание Т-ву»).

Армида — прекрасная волшебница в «Освобожденном Иерусалиме» Тассо, завлекавшая и губившая крестоносцев. *Дафна* — нимфа, превращенная своей матерью, богиней земли, в лавр для спасения от преследований Аполлона. *Лора* — Лаура, возлюбленная Петрарки. *Воклюв* — см. «Мечта». *Там Душеньки певец* — Богданович, автор «Душеньки». *Лесбосская певица* — греческая поэтесса Сафо (VII—VI вв. до н. э.) с о. Лесбос. По преданию, она безнадежно влюбилась в юношу Фаона и бросилась с Левкадской скалы в море.

К П-ну. Напечатано в «Опытах» 1817 г. Написано не позднее 1810 г. Адресовано к другу Батюшкова Петину Ивану Александровичу (см. «Тени друга»).

Инденсальми — селение в центральной Финляндии, в 90 км. севернее Куопио. Там в ночь на 29 октября 1808 года произошло сражение с внезапно напавшими на русский лагерь шведами. Благодаря необычайной смелости русских, эта ночная схватка в лесу кончилась полным поражением шведского отряда. Петин был одним из главных героев этого дела. *Цитерская сторона* — любовь (Цитера — местопребывание Венеры; остров, где находился ее храм.

Послание к И. М. М. А. Напечатано в 1815 г. Адресовано Муравьеву-Апостолу Ивану Матвеевичу (1768—1851), литератору, автору «Писем из Москвы в Нижний Новгород» (1813) и «Путешествия по Тавриде» (1823). Мысль о зависимости искусства от истории народа, его характера и характера страны постоянно высказывалась Муравьевым. Тема послания связана со статьей Батюшкова «О поэте и поэзии» (1815), где утверждается влияние на поэта «первых, сладостных впечатлений юности».

Минций — река в северной Италии, на которой находится город Мантуя — родина *Виргилия*. *Титира свирель* — эклоги *Вирги-*

лия (в первой из них под именем пастуха Титира Виргилий изобразил самого себя); они были написаны Виргилием в своей деревне до того, как он поселился в Риме при дворе Августа. *Пиериды* — музы. *Кола* — Кольский полуостров с рекой Колой. *Наш Пиндар* — Ломоносов, называемый Пиндаром (греческий поэт VI—V вв. до н. э.) за свои оды. *Дрожащий, хладный блеск полунощной Авроры* и след. — внушены Батюшкову мотивами из поэмы Ломоносова «Петр Великий». Стихи 75—76, 129—134 и 177—182 первой песни этой поэмы Батюшков цитирует в своей статье «Нечто о поэте и поэзии» (1815 г.), что дает прямое указание на источник соответствующих стихов в послании Батюшкова. *Уна* — река на севере, впадающая в Белое море; о ней говорится в I песне поэмы Ломоносова. *Пальмира севера* — Петербург. *Камские воспоминал дубравы* — родина поэта Державина была на р. Каме в Казанской губ. *Певец сибирского Пизарра вдохновенный!* — Дмитриев, написавший поэму «Ермак».

Смесь

Хор для выпуска благородных девиц Смольного монастыря. Впервые в «Опытах» 1817 г.

Песнь Гаральда Смелого. Напечатано в 1816 г. В феврале этого года Ба-

тюшков писал Вяземскому: «Вчера поутру, читая *La Gaule Poétique*, я вздумал идти в атаку на Гаральда Смелого, т. е. перевел стихов с двадцать...» Батюшков имеет в виду книгу Франсуа Маршанжи «Поэтическая Галлия». Песнь Гаральда, произведение древней северной поэзии XIII в., многократно подвергалась литературной обработке и была очень популярна; на русский язык переводилась Львовым и Богдановичем. Державин в «Рассуждении о лирической поэзии» сопоставлял ее со «Словом о полку Игореве». Общим источником русских переводов был французский текст Меллета в его «Истории Дании».

Сиканская земля — Сицилия. И дева русская Гаральда презирает — Гаральд храбрый (1015—1066), впоследствии король Норвегии, любил дочь Ярослава Мудрого Елизавету. Как пишет Карамзин (Ист. Гос. Рос., т. II, прим. 41): «Елизавета не презирала его: он следовал единственно обыкновению тогдашних нежных рыцарей, которые всегда жаловались на мнимую жестокость своих любовниц». Гаральд женился на Елизавете в 1045 г. *Дронгейм* — северная часть Норвегии. *Гела* — в скандинавской мифологии богиня смерти.

Вакханка. Напечатано в 1817 г. Стихотворение является подражанием «Переодевания Венеры» Парни. В рукописях «Вак-

ханка» снабжена примечанием автора: «Эригона, дочь Икария, которую обольстил Вакх, преобразясь в виноградную кисть».

Эвр — восточный ветер. *Эвоз!* — восклицание в честь Вакха на празднествах, ему посвященных.

Сон воинов. Напечатано в 1811 г. Стихи являются вольным переводом отрывка из третьей песни поэмы Парни «Иснель и Аслега», написанной в духе Оссиана на псевдо-скандинавскую тему.

Лежащих воев средь полей — вое — старинная форма слова воины.

Разлука. Напечатано в 1814 г. Стихотворение получило большое распространение в качестве романса.

Ложный страх. Напечатано в 1810 г. Стихотворение является довольно близким переводом элегии Парни «Испуг».

Ариус — стокий сторож, здесь ревнивый муж. *Морфей* — бог сна.

Сон Могольца. Баснь. Написано в 1808 г. Довольно близкий перевод басни Лафонтена «Сновидение обитателя Могола» (заимствовано Лафонтеном из «Гюлистана», персидского поэта Саади, по переводу дю-Риз 1634 г.).

Моголец — житель царства великого Могола (так европейцы называли властителей ост-индской империи). *Елисейские жилища* — рай. *Визирь* — титул высших государственных чиновников у персов, арабов, турок и других восточных народов. *Гурии* — прекрасные девы мусульманского рая. *Фурии* или *Эмениды* — адские богини Возмездия. *Парки* — божества судьбы: они пряли нить жизни для каждого человека; когда нить обрывалась, человек умирал.

Любовь в челноке. Напечатано в 1815 г.

Счастливец. Напечатано в 1810 г. с подзаголовком «Подражание Касты». Стихотворение является вольным подражанием одному стихотворению Касты, с которым совпадает, впрочем, только первыми строками.

Парос — остров греческого архипелага, месторождение белого мрамора. *Пафос* — город на Кипре, посвященный Венере. *Крез* — богат (имя лидийского царя VI в., обладателя несметных богатств). Строфа 12 — образ, ставший очень популярным, — взят Батюшковым из повести Шатобриана «Атала»: «Самое чистое на вид сердце похоже на естественный колодец в саванне Алачуа; поверхность его кажется спокойной и чистой, но загляните вглубь и вы увидите огромного

крокодила, который живет в водах колодца». Ср. «Подражания древним» VI.

Р а д о с т ь. Напечатано в 1817 г. с подзаголовком «Подражание Касте». Стихотворение является развитием основной мысли стихотворения Касте «Удовлетворение» (небольшая часть стихотворения — довольно близкий перевод).

Киприда (Цитера или Кифера) — Венера, именуемая так по своим любимым местопребываниям. *Тииская лира* — лира Анакреона, который был родом из Теоса (или Тиоса). *Камена* — муза. *Аврора* — богиня утренней зари.

К Н. Впервые в «Опытах» 1817 г. Адресовано Муравьеву Никите Михайловичу (1796—1843), троюродному брату Батюшкова, в будущем одному из основных деятелей декабристских тайных обществ, умершему в Сибири, — в то время гвардейскому офицеру, участнику Отечественной войны. Муравьев был в заграничных походах и встречался там с Батюшковым.

Эпиграммы, надписи и пр.

Всегдашний гость, мучитель мой. Напечатано в «Опытах» 1817 г. Является близким переводом эпigramмы Экушара Лебрена (1729—1807) «O, la maudite compagnie».

Как трудно Бибрису со славою
ужиться. Написано в 1809 г.

Бибрис — повидимому, С. С. Бобров, см.
стр. 324.

Памфил забавен за столом. На-
писано в 1815 г.

Совет эпическому стихотворцу.
Напечатано в «Опытах» 1817 г. Эпиграмма
направлена против Ширинского-Шихма-
това С. А. (1783—1837), ближайшего спод-
вижника Шишкова, члена «Беседы», в
1810 г. напечатавшего свою поэму «Петр
Великий. Лирическое песнопение в 8 пес-
нях». Можно предполагать, что эпиграмма
Батюшкова относится ко времени выхода
этой поэмы.

Мадригал новой Сафе. Написано
в 1809 г. Стохотворение, по свидетельству
современников, имеет в виду поэтессу из
лагеря Шишкова Анну Петровну Бунину
(1774—1828), влюбленную в поэта
И. И. Дмитриева.

Надпись к портрету Н. Н. Напе-
чатано в 1811 г.

К цветам нашего Горация. Напе-
чатано в «Опытах» 1817 г. Написано по
поводу посылки цветочных семян поэту Дми-

триеву Ивану Ивановичу (1760—1837), который увлекался разведением сада у своего московского дома. Как любителя природы и поэта, воспевающего сельскую жизнь и любовь, Дмитриева именовали Горацием.

К портрету Жуковского. Напечатано в 1817 г. Батюшков имеет в виду патристические произведения Жуковского: «Певец во стане русских воинов» и «Певец в Кремле».

Новым Греем он называет Жуковского за его сентиментальные элегии в духе английского поэта Грея (1716—1771). Перевод самой знаменитой элегии Грея «Сельское кладбище» принадлежит Жуковскому.

Надпись к портрету графа Эммануила Сен-При. Напечатано в 1816 г. Сен-При (1776—1814) — французский эмигрант, роялист, поступивший на русскую военную службу. В сражении под Аустерлицем он был всё время во главе своего батальона под градом пуль и последним отступил с поля сражения. Храбростью и кладнокровной распорядительностью отличался в самых жарких сражениях. Был убит во время заграничного похода русской армии. Батюшков, вероятно, познакомился с Сен-При в Риге, где они одновременно лечились после ранения.

Лилии отцов — лилия — герб королевской фамилии Франции, Бурбонов, к роду которых принадлежал Сен-При. *Баярд* — Баяр (1476—1524) — французский полководец, называемый «рыцарем без страха и упрека». *Дюгесклин* — дю Геклен (1314—1380) — французский военачальник, знаменитый своими доблестями.

Надпись на гробе пастушки. Напечатано в 1810 г., с пояснением автора: «Этот гроб находился на лугу, на котором собирались плясать пастухи и пастушки». Стихотворение приобрело особую популярность благодаря опере Чайковского «Пиковая дама», где на эти слова написана ария Полины. «И я жила в Аркадии» — сюжет знаменитой картины Пуссена (1594—1665), на которой изображено каменное надгробие, окруженное пастухами; на могиле надпись:

«И я (жил) в Аркадии». Аркадия — область в Пелопоннесе; в идиллиях и буколиках воспевались идеальные нравы пастухов Аркадии.

Мадригал Мелине, которая называла себя Нимфою. Напечатано в «Опытах» 1817 г. Мадригал является эпиграммой, т. к. прекрасная Ио, жрица богини Геры, из ревности к Зевсу была превращена ею в корову.

На книгу под названием «Смесь». Напечатано в «Опытах» 1817 года.

Странствователь и домосед. Напечатано в 1815 г. Батюшков писал Вяземскому, что темой для его произведения послужил стих Дмитриева «Ум любит странствовать, а сердце жить на месте», а в другом письме к нему же отмечал автобиографичность сказки.

Гарпогон — скупец — богач по имени героя комедии Мольера «Скупой». *Пенат* — домашнее божество, покровитель семьи. См. «Мои пенаты». *Зачем под пеленой сокрыт Изиды зрак* — изображение египетской богини Изиды было скрыто от непосвященных покрывалом, и только немногие могли видеть ее. *Зачем горящий Феб всё к западу стремится?* — речь идет о солнце (Феб — у древних греков бог солнца). *Пифагор* — греческий философ и математик (VI в. до н. э.). Пифагорийцы были мистиками и утверждали, что общаются с высшими небесными сферами. Учение Пифагора требовало аскетизма: отказа от мясной пищи и т. д. *Алкивиад* — политический деятель и полководец древних Афин (V в. до н. э.), отличавшийся красотой и легкомыслием. *Демосфен* — оратор древних Афин (IV в. до н. э.), имя его стало нарицательным. *Гликерия* — имя афинской красавицы, возлюб-

ленной Менанда, ставшее нарицательным. *Диоген* — греческий философ (IV в. до н. э.), утверждавший, что счастье заключается в наименьшем количестве потребностей; сам он жил в бочке. Его последователь *Кратес* (IV—III в. до н. э.) отказался от всякой собственности, кроме плаща, которым прикрывал свою наготу. *Пирей* — порт Афин. *Одиссея* — здесь в значении «странствия». Об *Аписе* — быке, или грозном *Озириде* — древние египтяне считали, что бык — Апис является воплощением верховного божества *Озириса*. О псах *Анубиса*, о чесноке святом — бог — покровитель умерших *Анубис* у древних египтян изображался в виде человека с головой шакала или собаки. Чеснок и многие другие травы считались у египтян священными. И о коте большом — древние египтяне считали кошку священным животным, воплощением богини *Изиды*. *Поллукс* — у древних греков — покровитель мореплавания, так же как и его брат-близнец *Кастор*. *Кротона*, или *Кротон* — греческий город в южной Италии; здесь жили ученики *Пифагора*. *Эмпедокл* — греческий философ V в. до н. э. Жизнь его была богата необыкновенными приключениями, о которых складывались легенды, напр., будто бы он бросился в кратер *Этны*, оставив на краю кратера свою сандалию. *Лаконские горы* — *Лаконика* — область в Пелопоннесе.

Атараксия — спокойствие, отречение от всякой страсти, идеал стоической философии. *Тайгет* — лесистая горная цепь в Пелопоннесе. *Керамик* — предместье Афин. *Иллис* — река в Афинах. *Фонтанку*, этот дом... и столько милых лиц, — речь идет, повидимому, о доме на Фонтанке, где жили Оленины и их воспитанница Фурман, которую любил Батюшков (см. вступительную статью). *Эней* — герой Троянской войны, вынесший на своих плечах из Трои старика отца. *Гиппократ* — врач (по имени знаменитого врача древней Греции V в. до н. э.). *Гимет* — горы в Аттике; славятся душистым медом. *Гипербореи* — народ, который, по мнению греков, обитал на севере.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 1805—1817 гг.,
НЕ ВОШЕДШИХ В „ОПЫТЫ“

Элегия (Как счастье медленно приходит). Напечатано в 1805 году. Является довольно близким переводом элегии Парни „Que le bonheur arrive lentement“ (XI элегия IV книги).

На смерть И. П. Пнина. Напечатано в 1805 году. Пнин Иван Петрович, умерший 17 сентября 1805 г. (р. 1773), журналист, поэт близкого Батюшкову либерального круга. Был президентом «Вольного

общества любителей словесности, наук и художеств». Эпиграф взят из стихотворения Вольтера «Смерть Лекуврер, знаменитой актрисы»: «Что я вижу? Сверхшлось, обнимаю тебя и ты мертва».

Пнин был согражданам полезен и след. — Пнин представил Александру I записку «Вопль невинности, отвергаемой законом», в которой предлагал изменение законов о незаконнорожденных.

Послание к Н. И. Гнедичу. Написано в 1805 году.

Что делаешь, мой друг, в Полтавских ты степях — Гнедич в 1805 г. жил в Полтавской губернии у своей сестры Галины Ивановны Бужинской. С *Фингаловым певцом* — певец Фингала Оссиан, см. статью. *Иль громку лиру взяв, пойти вослед Алкею* — писать торжественные оды, подобно греческому поэту Алкею (VII в. до н. э), писавшему гимны богам. *Рифмин* — имеется в виду поэт А. Ф. Мерзляков, писавший громозвучные стихи, в которых он подражал древнегреческим и латинским одописцам. *Армидины сады* — волшебные сады Армиды, куда она заманила Ринальда («Освобожденный Иерусалим», Тасса, см.). *Мальвина* — из поэм Оссиана. *Омир* — Гомер.

Безрифмина совет. Напечатано в 1805 году. *Безрифмин* у Батюшкова (см.

«Певец в стане словенороссов») не только поэт, пишущий белыми стихами (как «шишковист» С. Бобров), но и автор плохих, жалких творений. Кто имеется в виду в данном случае — неизвестно.

Пастух и соловей. Написано в 1807 году. Басня посвящена драматургу Озерову, который в это время подвергался резким нападкам «шишковистов» и в особенности драматурга кн. Шаховского, интриговавшего против Озеровского репертуара в театре. Огромный успех «Дмитрия Донского» (1807 г.) усилил неприязненный шум враждебного Озерову лагеря.

Н. И. Гнедичу. Написано в 1808 г.

К Тассу. Написано в 1808 г.

Авзонская муза — итальянская поэзия. *Достойной берегов прозрачной Аретузы* — достойной Италии. В Сицилии, в Сиракузах — родине Танкреда, одного из главных героев «Освобожденного Иерусалима» — находился источник чистой воды, названный древними греками Аретузой (по имени нимфы, превращенной в источник). *Феррара* — герцогство в Италии, с которым была связана большая часть жизни Тасса. *Назову тебе он лиру сам вручил* — в поэзии Тасса считали преемником великого римского поэта Овидия Назона (43 г. до н. э. — 17 г.

н. э.). *Танкред в враге своем Клоринду узнает* — герой «Освобожденного Иерусалима» убивает свою возлюбленную, мусульманку Клоринду, которая сражается с крестоносцами в одежде воина. *Скамандр божественный вертепами течет* — река, текущая садами на месте, где когда-то была знаменитая Троя.

Отрывок из I песни «Освобожденного Иерусалима». Напечатано в 1808 г. Вольный перевод 32—41 октав «Освобожденного Иерусалима» Тасса.

Из дома Эстского — из дома феррарских герцогов — Эсте. *Карингией теперь богатой обладает* — древняя плодородная провинция с славянским населением, северо-восточнее Триеста, входившая впоследствии в состав Австрии.

Отрывок из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима». Напечатано в 1809 г. Вольный перевод 12—34 октав «Освобожденного Иерусалима» Тасса.

Сирены — в греч. мифологии загадочные девы — обитательницы острова близ Кампаний, привлекавшие морских путешественников своим волшебным пением и губившие их. *Циклоп* — в греч. мифологии — одноглазые гиганты, чудовища.

Из письма Н. И. Гнедичу. Письмо датировано 4 августа 1809 г. Стихотворение развивает тему письма: Батюшков приглашает Гнедича к себе в деревню (Хантоново, Череповецк. уезда, Новгор. губ.).

И Фавны дикие кроталами играя — в римск. мифологии лесные божества, козлоногие, вечно пляшущие и производящие шум трещотками (кроталами), свирелями и т. п. *Гамадриады* — в греч. миф. — нимфы деревьев. *Сатиры* — в греч. миф. то же, что Фавны, участники вакхических оргий.

Книги и журналист. Написано в 1809 году.

Стихи Г. Семеновой. Написано в 1809 году. Адресовано знаменитой трагической актрисе Екатерине Семеновне Семеновой (1786—1849). Семенова блестяще исполняла роли героинь классического репертуара. Эпиграф из 8 октавы V песни «Освобожденного Иерусалима»: «В прекрасном теле — еще более милая сердечность».

Дочь добродетельну, печальну Антигону — героиня трагедии Озерова «Эдип в Афинах» (1804). Антигона, дочь царя Эдипа. В трагедии представлен скитающийся Эдип, преследуемый гневом богов за невольные преступления. Антигона сопровождает отца, облегчая его участь. *Я видел, я познал ее в*

Моине страстной — Моина — героиня трагедии Озерова «Фингал» (1805 г.). Я видел Ксению, стнящу предо мной — Ксения — героиня трагедии Озерова «Дмитрий Донской» (1807).

Эпиграмма на перевод *Виргилия*. Написано в 1809 г. Направлена против поэта и переводчика *А. Ф. Мерзлякова*, печатавшего в «Вестнике Европы» переводы эклога *Виргилия*. Эпиграмма является вольным переводом эпиграммы *Ж. Л. Лайя*.

Марсий — сатир, состязавшийся с *Фебом* в игре на флейте; *Феб* его победил и содрал с него кожу.

Эпитафия. Написана в ноябре 1809 г., в заключение письма *Гнедичу* после слов: «Умру и стихи со мной... Вот моя эпитафия».

Из письма *П. А. Вяземскому*. Написано в начале 1810 года. Является частью одного из первых писем к *Вяземскому* (см. «К другу»), ставшему вскоре одним из ближайших друзей *Батюшкова*. Шуточное послание написано, повидимому, в ответ на хвалебный отзыв *Вяземского* о сатире «Видение на берегах *Леты*» (см.).

В Иордан преобратил — река в Палестине; здесь проповедовал (согласно евангельскому рассказу) *Иоанн Креститель*; в во-

дах Иордана он крестил Инсуса, объявив его Мессией.

К Маше. Напечатано в 1810 году. Обращение пародирует евангельское благовещенье.

Известный откупщик Фадей. Напечатано в 1810 году.

Истинный патриот. Напечатано в 1810 году. Эпиграмма направлена против лжепатриотов эпохи войны с Наполеоном, которые, оставаясь поклонниками всего французского, делали вид, что ценят русские обычаи и старину.

Фрезы прабабки — старинное платье в виде сарафана (обычно из шерсти или атласу), застегивающееся до низу.

Свел соус, свел другой, а там сальмис французский — острые соусы и рагу из дичи с острой приправой (сальмис) — были характерны для французской кухни.

Сравнение. Напечатано в 1810 г.

Из Антологии. Напечатано в 1810 г. Является переводом антологической эпиграммы неизвестного автора. Батюшков переводил не с подлинника, а с французского перевода Вольтера «Жертвоприношение Гер-

кулеса» (в статье об эпиграмме в «Фило-софском словаре»).

Маин сын — в греч. миф. глашатай богов, бог дорог Гермес. *Алкид* в греч. миф. — Геркулес, внук Алкая, силач, покровитель слабых. За свои подвиги на земле был возведен в сонм богов.

Вечер. Подражание Петрарке. Написано в 1810 г. Стихотворение является подражанием (с вольным переводом некоторых стихов) IV канцоне «Сонетов и Канцонов, писанных при жизни Лауры»¹ Петрарки.

Лаура — возлюбленная Петрарки.

На смерть Лауры. Из Петрарки. Написано в 1810 г. Стихотворение является вольным переводом сонета Петрарки из «Сонетов и Канцонов, писанных после смерти Лауры».

1-й стих сонета приведен Батюшковым в сноске: «Пала высокая колонна и зеленый лувр». Сонет написан на смерть Лауры, возлюбленной Петрарки, и друга и покровителя Петрарки кардинала Стефана Колонна, одного из предводителей аристократической партии, убитого во время восстания против революционного правительства Кола ди Риенци в Риме в 1347 г.

Колонна гордая! О, лавр вечновеленый! — игра слов: колонна — Колонна, лавр

(lauro) — *Лаура* (Laura). *Инд* — житель Индии.

Мадагаскарская песня. Написана в 1811 г. Вольный перевод 8-й «Мадагаскарской песни» Парни, написанной в прозе.

О, пока бесценна младость. Написано не позднее 1812 г.

На поэмы Петру Великому. Напечатано в 1815 г. Эпиграмма направлена против так называемых лиро-эпических поэм о Петре Великом: С. Шихматова «Петр Великий. Лирическое песнопенье в 8-ми песнях» 1810 г., Сладковского «Петр Великий в 6 песнях», 1803, и А. Грузинцева «Петриада в 10 песнях», 1812. Последняя, повидимому, и явилась поводом к написанию эпиграммы (см. на эту же тему «Совет элическому стихотворцу»).

Наш Пиндар кончил живнь, поэмы не скончав — Ломоносов (названный русским Пиндаром (VI—V в. до н. э.) за свои оды) — умер в 1765 г., не кончив своей поэмы «Петр Великий».

Переход русских войск через Неман 1 января 1813 г. Написано в начале 1813 г. в связи с заграничным

походом русских войск, после разгрома Наполеоновской армии.

И в стане царь молодой — Александр I.
И старец — вождь пред ним, блестящий сединами — Кутузов М. И. (1745—1813), главнокомандующий русскими войсками.

Послание к А. И. Тургеневу. Дата неизвестна, повидимому относится к 1813—1815 гг. — времени наиболее частых посещений дома Олениных (см. вступительную статью).

Есть дача за Невой — имение Олениных «Приютино» в 17 верстах от Петербурга.
Добрая Элиза — Оленина Елизавета Марковна, отличавшаяся особым гостеприимством. *Вандиков* ученик — ученик фламандского портретиста первой половины XVII в. — Ван-Дейка. *О. Кипренский* (1783—1836) прославился своими портретами, за что именовался русским Ван-Дейком и его учеником. *Тянислов* — персонаж комедии Крылова «Проклязники», плохой поэт; здесь имеется в виду П. М. Карабанов (см. «Певец в стане словенороссов»). *Балдус* — прозвище бездарного писателя, примененное поэтами «арзамасцами» к Шишкову.

Надпись к портрету кн. П. А. Вяземского. Написано 9 марта 1817 г. Является частью письма к П. А. Вяземскому, в котором Батюшков просит его при-

слать портрет Жуковского: «Не я прошу его, твой портрет кличет на стене. Вот ему надпись». Далее следует надпись и заключение: «Ей-ей изрядно для стихотворца хромого и с мушкой на затылке».

Катулл — римский поэт I в. до н. э. Катулл прославился не только любовной лирикой, но эпиграммами и памфлетами. Эти же особенности творчества имеет в виду Батюшков, называя Вяземского нашим Катуллом.

С а т и р ы

Послание к стихам моим. Напечатано в 1805 году. Эпиграф взят из «Послания к Датскому королю Христиану VII о свободе печати, дарованной в его государстве» Вольтера: «Освистывайте меня без стеснения, братья, — я отвечу тем же». В сатире высмеиваются идеи «шишковистов». Она написана вскоре после выхода в свет «Рассуждения о старом и новом слоге» (1803) Шишкова.

Стукодей — персонаж из стихотворения В. Л. Пушкина «Вечер», всезнайка, поклонник Шишкова и хулитель Карамзина, Дмитриева и даже Державина. Возможно, что речь идет о библиографе, переводчике и слабом поэте Анастасевиче (см. «Певец в беседе любителей русского слова»), который служил стражником в корпусе пеших стрел-

ков, прежде чем перейти к литературной деятельности. *Плаксивин на слезах с ума у нас сошел* — речь идет о сентименталистско-шишковисте. Мистические произведения «со слезами и вздохами» характерны для нескольких поэтов (Ширинского-Шихматова, П. Львова и Станевича). В данном случае имеется в виду, повидимому, Е. И. Станевич (см. «Певец в беседе любителей русского слова») и его сборник «Сочинений в стихах и прозе» (1805), где имеются стихи о потерянной дружбе. Хотя и *** в газетах выхваляет — речь идет об издателе и книгопродавце Глазунове, который был распространителем сочинений членов «Беседы». *Безрифмы* — С. С. Бобров, писавший без рифм (см. «Видение на берегах Леты»). *Глупон* — Шишков. *Мы верим все ему* — кругами утверждает — В своем «Рассуждении о старом и новом слове» (1803) Шишков сравнивает развитие языка с кругами, расходящимися по воде после падения камня.

Видение на берегах Леты. Написано в 1809 г. Сатира на бездарных стихотворцев, преимущественно группы Шишкова. Батюшков писал, что сатира его: «Произведение довольно оригинальное, ибо ни на что не похоже». Перевод эпиграфа: «Моя муза, осмотрительная и осторожная, умеет, высмеивая поэта, не затронуть чести человека» (из IX сатиры Буало).

Бобров С. С. (1768—1810) — поэт-мистик, писавший архаическим, туманным языком. В 1804 г. вышла его книга «Рассвет полночи, или созерцание славы, торжества и мудрости порфиринозных, браноносных и мирных гениев России с последованием дидактических, эротических и других разного рода в стихах и прозе опытов». *Касталийские воды* — поэзия: Касталия — источник на Парнасе, посвященный Аполлону и музам. *Мельпомена* — муза трагедии. *И бога нежной красоты* — Амура (речь идет о Богдановиче, авторе «Душеньки», стихотворной повести о Психее и Амуре). *Отец стихов Телемахиды* — Тредиаковский В. К. (1703—1769). *Барков И. С.* (1732—1768) поэт, писавший порнографические произведения. *Как вдрог Маинин сын Крылатый* — Гермес, или Эрмий, сын Майи, бог-вестник, провожатый теней умерших в царство мертвых. *Минос* — судья в царстве мертвых. *Был тени маленькой ответ* — речь идет о поэте Мерзлякове А. Ф. (1778—1830), отличавшемся маленьким ростом. Мерзляков — переводчик древних авторов, в частности Вергилия и Алкея (греческий поэт VII в. до н. э.), убежденный сторонник классицизма. *Я здесь, сего бо хочет бог и след.* — цитата из произведения Мерзлякова «Тень Кукова на острове Овгиги». *Писать всё прозой без еров* — речь идет об Языкове Д. И. (1773—1845),

писателе, авторе многочисленных переводов, писавшем принципиально без твердых знаков. *Какие странные обмены и следствия* — намекают на многочисленные произведения писателей сентиментального (нового еще в России) направления. В московских журналах, издававшихся сентименталистами, печатались произведения под названиями: «Мавзолей сердца», «Журнал моих идей» и т. п. *Один, причесанный в тупей* — со взбитым хохолком. *Поэт присяжный, князь вралей* — кн. Шаликов П. И. (1768—1852), поэт и журналист, эпигон Карамзина, представитель сентиментального направления. *Я русский поэт* — Глинка С. И. (1775—1847), автор сентиментальных драм на сюжеты из русской истории, напечатанных в 1806—1809 гг., издатель «Русского Вестника». Русским Жан-Жаком Руссо Батюшков называет Глинку за проповедь нравственного самоусовершенствования, Расином — за трагедии, Юнгом (английский поэт 1681—1765) — за перевод его «Ночей» и Локком (английский политический деятель и философ, 1632—1704) — за статью в «Русском Вестнике», где он доказывает, что воспитание Петра I было в духе идей Локка. *Тут Сафы русские печальны* — речь идет о писательницах: Титовой Е. И. (1770—1846), авторе драмы «Густав Ваза или торжествующая невинность», Буниной А. П. (1774—1828), авторе многочисленных стихотворных

произведений, очень ценимых в группе Шишкова, и Извековой М. Е. (1794—1830), авторе мало известных романов и стихотворений. Сафами Батюшков называет этих писательниц по имени (ставшему нарицательным) древнегреческой поэтессы Сафо. Я виноносный гений — Бобров. Виноносный — пародия на «браноносный» (см. выше). Писал с заказу Глазунова. Петербургский книготорговец Ив. Петр. Глазунов (1762—1831) был и крупным издателем. Мы все с Невы поэты русски — поэты из Российской академии, руководимой Шишковым А. С. (1754—1841); член Российской академии с 1796 г.; с 1813 г. — президент. Свою основную мысль о тождественности русского языка с церковно-славянским Шишков изложил в «Рассуждении о старом и новом слоге русского языка» (1803). Произведение это и послужило началом длительной полемики «шишковистов» и «карамзинистов». Они Пожарского поют — речь идет о поэме «Пожарский, Минин, Гермоген, или спасенная Россия» (1807 г.), написанной ближайшим сподвижником Шишкова — кн. Ширинским-Шихматовым С. А. (1783—1837). Произведения Шихматова вызывали насмешки своим архаическим языком и туманным мистицизмом. Кургановым писать учен — «Письмовник» Курганова, с рецептами хорошего слога и языка, к тому вре-

мени совершенно устарел. *Певец любовных езд* — Тредиаковский перевел с французского аллегорическую повесть «Езда в остров любви». *«Деидамия»* — трагедия Тредиаковского.

Певец в беседе любителей русского слова. Написано в 1813 г., по-видимому при некотором участии А. Е. Измайлова, написавшего несколько строк. Сатира пародирует форму стих. Жуковского «Певец во стане русских воинов». Она появилась в период борьбы двух литературных групп: карамзинистов и шишковыхцев. «Беседа любителей русского слова» была организована Шишковым как бюрократическое учреждение, с соблюдением чинов и званий. Она делилась на четыре разряда с особым председателем в каждом. В разряды входили члены из почтенных литераторов и члены-сотрудники из молодых. Все они в сатире играют роль подпевал певцу, т. е. своему председателю. Упоминаются даже почти все поклонники «Беседы», не состоящие ее членами, а также «предки беседистов» Тредиаковский и Николев (ум. в 1815 г.), поэт, писавший песни и трагедии в псевдонародном духе.

Сумбуром именуется Шишков. Потемкин — гр. Серг. Павл. (1787—1858) — один из ревностных членов «Беседы», участник издаваемых ею «Чтений». *Жихарев* Степ. Петр.

(1787—1860) — известный как мемуарист и театральный деятель, был посредственным поэтом. Стихи его оссианической поэмы «Барды» высмеивались карамзинистами. *Шихматов-Ширинский* был любимцем Шишкова и одним из главных «беседистов». Писал вычурными, неудобочитаемыми стихами, не употребляя в рифмах глаголов (см. «Видение на брегах Леты»). *Шаховской* (см. «Пастух и Соловей») — драматург, «беседист», был автором комической поэмы «Расхищенные шубы». Он сожительствовал с комедийной актрисой Ежовой, которая была всем известна своими театральными интригами и влиянием на судьбы актеров. *Карабанов Петр Мих.* (1766—1826) — поэт, один из ближайших соратников Шишкова. Отличался необыкновенной толщиной и обжорством («телец упитанный и нас»). *Хвостов неистошимый* — гр. Дм. Ив. *Хвостов* (1757—1835), написал огромное количество разнообразных произведений и сам их усиленно распространял. Он был одним из столпов «Беседы». *Захаров Ив. Сем.* (1754—1816) — посредственный переводчик и переложитель, в то же время являлся одним из руководителей «Беседы». Его заунывно-приподнятая декламация считалась у шишковцев образцовой. *Львов Пав. Юр.* (1770—1825) начал свою деятельность сентиментальными повестями и сохранил

тот стиль, будучи поборником «словеноросских» идей Шишкова. В своих туманных, мистических сочинениях употреблял слова и выражения совершенно устарелые и неудобопонятные. *Палицын Александр Александр.* (ум. в 1816) был поэтом-любителем. Его неуклюжие, неумелые стихи («Послание Привете» и др.) были трудно произносимы («гроза чтецов»). Жил он почти безвыездно в своем имении Поповка (Харьк. губ., Сумск. уезд), в шутку именуемой «Поповскою академией». Был поклонником Шишкова и его теорий, не будучи членом «Беседы». *Станевич Е. И.* (см. «Послание к моим стихам») — автор мистических сочинений в духе английских писателей-мистиков Юнга и его подражателя Гервея, был неоднократно «обружан» в печати (Каченовским в «Вестнике Европы» и друг.). *Анастасевич Вас. Григ.* (1775—1845) — библиограф, переводчик, не будучи членом «Беседы», с большой угодливостью исполнял поручения маститых шишковистов, в частности Хвостова (отсюда «халуцй», слово, которым именовал слуг, челядь в своих сочинениях Анастасевич). Злоупотребление полонизмами было характерно для произведений и переводов Анастасевича, который долго служил в Польше («И с польской музыкой своей»). Соколов не только не был членом «Беседы», но и не имел никакого отношения к литературе;

его приглашали в качестве чтеца. Политковский Гавр. Герасим. (1770—1824) — автор одной надутой и безжизненной, вялой драмы «Верный друг в несчастье познается», был деятельным «беседистом».

СТИХОТВОРЕНИЯ 1818—1821

К N N. Написано в 1817 г. Адресовано Сергею Семеновичу Уварову (1786—1855), президенту Академии Наук, впоследствии министру народного просвещения, в то время деятельному «арзамасцу», любителю и знатоку древнего искусства и литературы, на что намекает Батюшков, говоря об Аттике (область Греции с Афинами), музее эротической поэзии Эрате, о Трое, Риме и Солиме (Иерусалиме). Стихотворение относится ко времени совместной работы с Уваровым над переводами из «Греческой антологии».

Из греческой антологии. Написано в 1817—1818 гг. Стихотворения представляют собой переводы из древнегреческих авторов, иллюстрирующие статью С. С. Уварова «Из греческой антологии». Статья с стихотворными переводами была напечатана анонимно в 1820 г. Переводил Батюшков не с подлинников (он не знал греческого языка), а с французских стихотворных переводов Уварова.

Греческая антология — собрание мелких стихотворений древних греческих поэтов, напечатанное впервые в конце XV века. Как пишет Уваров, «собрание сие содержит все эпохи греческой поэзии». Он отмечает, что переводы, хотя и являются вольными, но близки к подлинникам. «Надо объяснить с точностью то, что греки понимали под словом эпиграмма. Мы называем эпиграммой краткие стихи сатирического содержания, кончающиеся острым словом, укоризной или шуткою. Древние давали сему слову другое значение. У них каждая небольшая пьеса, размером элегическим писанная (то есть гекзаметром и пентаметром), называется эпиграммою».

В обители ничтожества цнылой — перевод эпиграммы греческого поэта Мелеагра Гадарского (I в. до н. э.), произведения которого были положены в основу «Антологии». *Свидетели любви и горести моей* — перевод эпиграммы греческого поэта Асклепиада Самосского (около III в. до н. э.), автора 39, преимущественно эротических, эпиграмм в «Антологии».

В издании статьи Уварова эпиграмма эта напечатана с следующими тремя конечными стихами:

Пусть остановится в раздумье и вздохнет,

А вы, цветы, благоухайте

И милой локоны слезами напитайте!

Стихи эти явно составляют вариант предыдущих трех и их присоединение к тексту стихотворения является явно ошибочным.

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот — перевод эпиграммы греческого поэта Гедила (III в. до н. э.). *Явор к прохожему* — перевод надписи греческого поэта Антипатора Сидонского (III в. до н. э.). *Где слава, где краса, источник вол твоих?* — перевод надписи того же греческого поэта, написанный на разорение Коринфа, совершенное консулом Муммием (II в. до н. э.). «Поэт предполагает, что Неренды, дочери Океана, сетуя на развалинах Коринфа, поют». *Куда красавица?* — перевод эпиграммы неизвестного поэта «Антологии». Эпиграммы: «Сокроем навсегда от зависти людей», «В Лаисе нравится улыбка на устах», «Тебе ль оплакивать утрату юных дней», «Увы, глава потухшие в слезах», «Улыбка страстная и взор красноречивый», «Изнемогает жизнь в груди моей остылой» — переводы из Павла Силенциария (VII в. н. э.). Уваров пишет: «Павел, рожденный и воспитанный в христианстве, должен был сохранить в душе своей неизгладимую печать религии, но поэзия его более принадлежит к роду поэзии древних: все их формы строго соблюдены». *С отвагой на челе* — эпиграмма не входит в состав «Антологии», Уваров пишет о ней: «Сверх сего, найдена еще на обверточном листе издаваемой нами руко-

писи следующая надгробная надпись, с греческого переведенная». Эту же надпись впоследствии перевел Д. В. Дашков, поместивший ее в «Северных цветах на 1825 г.» в качестве перевода из Феодорида.

К творцу «Истории государства Российского». Написано в 1818 г. Посвящено Н. М. Карамзину, в связи с выходом в свет I тома «Истории государства Российского».

Отец истории — греческий историк Геродот (500—424 гг. до н. э.) по преданию читал на Олимпийских играх свои исторические сочинения (Историю греко-персидских войн) и его слушал молодой Фукидид (род. около 464 г., ум. в 400 г. до н. э.) — греческий историк, автор «Истории Пелопоннесских войн». *Аониды* — музы.

Подражание Ариосту. Написано в 1817—1818 гг. Является вольным переводом 42 строфы I песни (без последних двух стихов) «Неистового Орланда» Ариоста. В качестве подзаголовка дан первый стих подлинника: «Девушка подобна розе».

Ты пробуждаешься, о, Б'айя, из гробницы. Написано в 1819 г. в Италии.

Байя — древний приморский городок близ Неаполя, во время Римской империи был любимым местопребыванием аристократии и

считался средоточием роскоши (Сенека называл Байю убежищем порока). Во время посещения Батюшкова Байя представляла собой лишь развалины дворцов и храмов, частью затопленных морем.

Есть наслаждение и в дикости лесов. Написано в 1819—1820 гг. Вольный, неоконченный перевод строф 178—179 IV песни «Чайльд Гарольда» Байрона.

Надпись для гробницы дочери Малышевой. Написано в 1820 году по просьбе матери умершей в Неаполе девочки.

Подражание древним. Написано в 1821 г. Имен — на Красном море, известен розами. *Будь в счастье Сципион* — будь туманным с побежденными (подобно римскому полководцу и консулу Сципиону Африканскому 235—183 гг. до н. э., при взятии Карфагена).

Жуковский, время всё проглотит. Написано в 1821 году в альбом Жуковского, при встрече с ним в Дрездене.

Ты знаешь, что изрек. Написано в 1821 г.

Мельхиседек — таинственное лицо, упоминаемое в Библии (Бытия, 14, ст. 18), — царь-священник Салима. В Мельхиседеке видели воплощение высшей мудрости.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИЗДАНИЙ СОЧИНЕНИЙ БАТЮШКОВА

Опыты в стихах и прозе Константина Батюшкова, 1817 (две части). Первая часть состоит из 15 прозаических статей, вторая содержит избранную лирику за период 1802—1817 гг., всего 64 стихотворения. Все не вошли в этот сборник сатиры. Сборник был издан по поручению К. Н. Батюшкова Н. И. Гнедичем.

Сочинения в прозе и стихах, две части, 1834 г. Издание представляет собой переиздание «Опытов» с некоторыми дополнениями: в первой части прибавлены повесть «Предслава и Добрыня» и восемь писем; во второй части несколько изменен порядок и присоединены 23 стихотворения и статья С. С. Уварова «О греческой Антологии», содержащая переводы Батюшкова. Это издание было подготовлено к печати Н. И. Гнедичем, но вышло в свет после его смерти.

Сочинения Батюшкова, 2 тома, 1850 (в составе «Полного собрания сочине-

ний русских авторов», изд. Смирдина). Неисправная перепечатка изд. 1834 г. с прибавлением сатиры «Видение на берегах Леты».

Сочинения К. Н. Батюшкова в 3 томах, 1885—1887. Изданы П. Н. Батюшковым со статьею о жизни и сочинениях К. Н. Батюшкова, написанною Л. Н. Майковым, и примечаниями его же и В. И. Саитова. Том I (1887). Стихотворения (в значительно пополненном составе, всего 119 стихотворений) в хронологическом порядке. Введением в том является обширное исследование Майкова о Батюшкове. Том II (1885). Проза (в составе 27 произведений) в хронологическом порядке. Том III (1886). Письма (309). Фундаментальное издание Л. Н. Майкова по текстологическим приемам, а особенно по тщательности и обширности комментария, содержащего историю текста (с вариантами), источники и необходимые сведения об упоминаемых лицах и событиях для каждого произведения, стоит на высоте научных требований конца прошлого века и являлось образцовым для всех научных изданий, вышедших после него. Хотя в настоящее время издание это несколько устарело по методологическим приемам (как с точки зрения историко-литературной концепции, так и по текстологической обработке текста) — оно сохранило ценность по обилию сведений и

является единственным научным изданием сочинений К. Н. Батюшкова.

Сочинения К. Н. Батюшкова. Издание пятое, общедоступное, 1887 (в 1898 издание повторено под названием шестое, общедоступное). Издание редактировано Л. Н. Майковым и сделано им на основании большого издания. В качестве введения дан краткий биографический очерк; примечаний нет. В издание вошло 76 стихотворений, 18 статей и 13 писем.

К. Н. Батюшков. Сочинения. 1934, издание Academia. Редакция, статья и комментарий Д. Д. Благого. В издание вошло полное собрание стихотворений (есть дополнения, сравнительно с изданием 1887 г., всего в издании 144 ст., включая и стихотворные отрывки из писем), причем сборник «Опыты» (часть II) перепечатан полностью в составе и редакции 1817 г.; избранные статьи (8 произведений) и избранные письма (20). Кроме вступительной статьи Д. Д. Благого и комментария к отдельным произведениям (в котором сверх сведений, находящихся в издании Л. Н. Майкова, даны некоторые новые стихотворные варианты), в издании даны «основные даты жизни и творчества К. Н. Батюшкова», «Хронология стихов» (т. е. хронологический список стихотворений) и два словаря: имен и слов.

К. Н. Батюшков. Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания Б. С. Мейлах. Библиотека поэта (большая серия), 1941. В сборнике полностью перепечатаны «Опыты» (по изд. 1817 г.) и к ним присоединены все стихи, не включенные в «Опыты», в том числе и стихотворные отрывки из писем поэта. Всего в сборнике 151 стих., не считая писанных во время болезни, коллективных и сомнительных по принадлежности. К стихотворениям присоединена «Речь о влиянии легкой поэзии на язык».

СОДЕРЖАНИЕ

К. Н. Батюшков, Вступительная статья Б. В. Томашевского	V
--	---

ОПЫТЫ В СТИХАХ

К друзьям	3
---------------------	---

Элегии

Умиравший Тасс	7
Надежда	13
На развалинах замка в Швеции	15
Элегия из Тибулла	20
Воспоминание	25
Воспоминания, отрывок	27
Выздоровление	30
Мщенье	31
Привидение	34
Тибуллова элегия III	37
Мой гений	39
Дружество	40
Тень друга	41
Тибуллова элегия X	44
Веселый час	48
В день рождения	51
Пробуждение	52
Разлука	53

Таврида	54
Судьба Одиссея	56
Последняя весна	57
К Г***чу	59
К Д***ву	61
Источник	64
На смерть супруги К—на	66
Пленный	68
Гезиод и Омир соперники	71
К другу	77
Мечта	81
Переход через Рейн	89
Беседка муз	95

Послания

Мои пенаты	99
Послание к г. В—му	110
Послание к Т—ву	112
Ответ Г—чу	115
К Ж—му	116
Ответ Т—ву	119
К П—ну	122
Послание И. М. М. А	124

Смесь

Хор для выпуска благородных девиц Смольного монастыря	131
Песнь Гаральда смелого	133
Вакханка	135
Сон воинов	137
Разлука	139

Ложный страх	141
Сон Могольца	143
Любовь в челноке	145
Счастливец	147
Радость	150
К Н.	152
Эпиграммы, надписи и пр.	
I. Всегдашний гость, мучитель мой»	155
II. «Как трудно Бибрису со славою ужиться»	155
III. «Памфил забавен за столом»	155
IV. Совет этическому стихотворцу	156
V. Мадригал новой Сафе	156
VI. Надпись к портрету Н. Н.	156
VII. К цветам нашего Горация	156
VIII. К портрету Жуковского	157
IX. Надпись к портрету графа Эммануила Сен-При	157
X. Надпись на гробе пастушки	157
XI. Мадригал Мелине, которая называла себя Нимфою	158
XII. На книгу под названием Смесь	158
Странствователь и домосед...	159

ВЗ, СТИХОТВОРЕНИЙ 1805—1817 гг.,
НЕ ВОШЕДШИХ В „ОПЫТЫ“

Элегия (Как счастье медленно приходит)	175
На смерть И. П. Пнина	176

Послание к Н. И. Гнедичу	178
Безрифмина совет	183
Пастух и соловей	184
Н. И. Гнедичу	186
К Тассу	188
Отрывок из I песни «Освобожденного Иерусалима»	193
Отрывок из XVIII песни «Освобожденного Иерусалима»	197
Из письма Н. И. Гнедичу	204
Книги и журналист	205
Стихи г. Семеновой	206
Эпиграмма на перевод Виргилия	208
Эпитафия	209
Из письма П. А. Вяземскому	210
К Маше	211
Известный откупщик Фадей	212
Истинный патриот	213
Сравнение	214
Из Антологии	215
Вечер. Подражание Петрарке	216
На смерть Лауры	218
Мадагаскарская песня	219
О, пока бесценна младость	221
На поэмы Петру Великому	223
Переход русских войск через Неман	224
Послание к А. И. Тургеневу	226
Надпись к портрету кн. П. А. Вяземского	228
С а т и р ы	
Послание к стихам моим	231

Видение на берегах Леты	234
Певец в беседе любителей русского слова	245

СТИХОТВОРЕНИЯ

1818—1821 гг.

К NN	257
Из греческой антологии	258
К творцу «Истории государства Российского»	264
Подражание Ариосту	265
Ты пробуждаешься, о, Байя, из гробницы	266
«Есть наслаждение и в дикости лесов» .	267
Надпись для гробницы дочери Малышевой	268
Подражание древним	269
Жуковский, время всё проглотит . . .	271
Ты знаешь, что изрек	272
Примечания	273
Список основных изданий сочинений Ба- тюшкова	335

Редактор В. Десницкий

Художник Л. Хижинский. Техн. редактор А. Кирмарская М013308. Подписано к печати 14/V 1948 г. Печ. л. 6⁵/₁₆. Уч.-изд. л. 15,13. А. л. 14,62. Тираж 20 000. Цена 10 р. Заказ 1582. Типография № 3 Управления издательств и полиграфии Исполкома Ленгорсовета

СПИСОК ОПЕЧАТОК

Стр.	Строки	Напечатано	Следует
187.	14 св.	крылья	крила
192	13 св.	знаки	знамя
193	13 св.	первейший	первейши
199	15 св.	текущего кристала	текуща кристала
200	1 св.	дивные	дивныя
243	9 св.	народно	нарочно
281	2 св.	Levenant	Le Revenant

К. Батюшков.

20120



2010515930